

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ОКТАБРЬ
ШЕСТНАДЦАТОГО
КНИГА 1

СБОРНИК СОЧИНЕНИЙ

Собрание сочинений в 30 томах

Александр Солженицын

**Красное колесо. Узел 2. Октябрь
Шестнадцатого. Книга 1**

«WebKniga»

1984

Солженицын А. И.

Красное колесо. Узел 2. Октябрь Шестнадцатого. Книга 1
/ А. И. Солженицын — «WebKniga», 1984 — (Собрание
сочинений в 30 томах)

ISBN 978-5-9691-1043-4

В книге первой «Октября Шестнадцатого» развернута широкая картина социальной обстановки и общественных настроений в России на третьем году Первой мировой войны. На этом фоне прослеживаются личные судьбы персонажей, от простого солдата и рабочего-подпольщика до Государя Императора.

ISBN 978-5-9691-1043-4

© Солженицын А. И., 1984

© WebKniga, 1984

Содержание

Узел II	5
Книга 1	5
1	5
2	8
3	16
4	24
5	30
6	36
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Красное колесо

повествование в отмеренных сроках

Узел II

Октябрь Шестнадцатого

14 октября – 4 ноября ст. ст

Книга 1

1

Птицы близ фронта. – Местность у Щары. – Унизительность русских позиций. – Какие места дорожке сердцу? – Подвиг Сани на батарее. – Рассвет за Торчицкими высотами. – Перо жар-птицы.

Птицы любят не всякий лес. В жиденьком, слабеньком Дряговце было их куда меньше и скучней, чем в Голубовщине, три версты в тыл. К войне на поживу налетело из многих мест гальё, вороньё, коршуны (как и мыши и крысы стянулись), а улетели подальше певчие дрозды, снялись с высоких крыш белые аисты, выстаивающие счастье. Но крестьяне говорят, что и прежде войны, всегда: Дряговец не любил птиц, а Голубовщину любили. А между тем лесом и этим, над мокредью у старого екатерининского шляха, как до войны, так и в войну, тянущие плачут чибисы, и только они одни.

Толстоствольную парковую Голубовщину, где лес не слитен, но каждое дерево как на показ и по просторности всюду трава чистая, ласковая, доныне, уже год близ позиций, населяло изобилие птиц, вся главная масса их. И в мае так это вместе всё куковало, булькало, стрекотало, щебетало, вытягивало, пересвистывало, что у Сани, южанина-степняка, слабели ноги – опуститься на шёлковую траву, и грудь раздувалась – не воздуха только вобрать, но птичьего пенья.

И тяжела становилась амуниция, оттягивающая плечи, грузный револьвер.

Кажется, близко бы всем этим птицам отлететь от передовых позиций, от воя снарядов, от дыма взрывов, от газовых волн, ещё вёрст на десять назад, – нет! Пренебрегая шумной, чёрной людской войною, даже гибня в ней иногда, жили многие птицы на своих извечных местах, признавая лишь своё повеление внутреннее, лишь строгий свой меридиан.

Голубовщина была лес помещика-поляка, впрочем перенятый в аренду простым селянином, а Дряговец – крестьянский лес. Что такое именно значило «Дряговец», Саня не добился понять, но уже в самых звуках слышался худший сорт и пренебрежение. Такой и был он – хилый, мелкодеревый, не радующий душу и не по воле заселённый теперь грендерами весь насквозь: тылами и резервами пехоты, затем – передками, лошадьми и землянками артиллеристов. Сразу же за Дряговцом стояли пушки 1-го дивизиона 1-й Гренадерской бригады.

Тонких хлыстов Дряговца не хватило бы ни на какие землянки, и давно не осталось бы самого леса, но вовремя было запрещено его валить, как и завидную Голубовщину. Из неисчерпаемой России, из глубины, привозили железнодорожными платформами толстые брёвна на все перекрытия и укрепления, перегружали на колёсные станы, и ближние крестьяне, три рубля за фурманку в ночь, темнотою и под немецкими ракетами возили-

возили-возили тот лес под самую даже передовую линию. (Только из передних деревень крестьяне ушли, а уже в Стайках и в Юшкевичах жили и засевали поля, а немцы, бывшие по большому полю, когда видели там работающих крестьян – по ним не кидали.)

Почти вся санина война, минувший год, и прошла в этих местах, в этих нескольких верстах, окидываемых одним круговым взглядом. Ещё с прошлого сентября стояла их батарея позади Дряговца, и от батареи на их прежний наблюдательный пункт ходил Саня всегда одной и той же дорогой: сперва через Дряговец, кишащий солдатской жизнью, потом, под просмотром неприятеля, по старому шляху, где не шагали строем и не гнали больше одной повозки сразу; от придорожного, до сих пор не сшибленного деревянного креста с жестяным кружевным щитком над образом Спаса брал влево и полторы версты унижительно сгибался ходом сообщения, сталкиваясь со встречными и с осыпчивою землёй, и так – до самых пехотных окопов, еле-еле выгрызенных в узких грядах среди мочажины. И, этим путём каждодневно гнясь и сапогами чвакая в осенней и весенней грязи, а то и на глубину голенищ в окопной воде, мог бы горько изумиться кто не знал: как же было так допустить? как же можно было, отступая, такие наихудшие позиции себе выбрать, а немцам дать перейти Щару, занять Торчицкие высоты и обратить в крепость возвышенный фольварк Михалóво? Но Саня прихватил в Гренадерской бригаде прошлый август и помнил конец этого страшного отступления: сшибали их размётным артиллерийским огнём, а то удушливыми газами; дни высиживали под долбящим обстрелом и почти не вкопанные, сами без снарядов, ночами отступали, а неприятельской пехоты и не видели никогда, ей и делать было нечего. Без снарядов, и даже ружейные патроны на счету, валили и катили мимо Барановичей на Столбцы, а хоть бы и на Минск, – и вдруг обнаружили, что немцы в спину больше не костят. Обернулись, постояли. Вовсе стали. А потом от месяца к месяцу, под вражеским просмотром и огнём, весь Гренадерский корпус трудами и потерями полз обратно, *выдвигался до полного сближения*, долгими окопными работами проходя и занимая две с половиной версты, оставленные немцами в пустоте как негодные.

Эти вёрсты унижения, пота и смерти не за что было, кажется, полюбить. Но странно: за год, проведенный здесь, стала для Сани эта местность щемяще доро́га, как родина, и привык он к каждому кустику, бугорку и тропочке нисколько не меньше, чем вокруг своей Сабли. Истинная родина, Саня узнал, тут близко была Мицкевича – поправее, к Колдычевскому озеру, и ещё б не любил поэт места своих детских игр и юношеских мечтаний. Но места, где провёл ты грозные дни своей жизни, не тесней ли того сродняются с тобой? Они как молнией выхвачены для тебя из всех земных пространств, они свидетели не безмыслного, беззаботного твоего рождения, а поступков внезапного мужества, созревания которого ты в себе не предполагал, или возможной смерти – сегодня? завтра? И, сапогами буднично шелестя о траву, ты, может быть, каждый день проходишь мимо крестика смерти своей, мимо будущей твоей милой могилы.

Сколько за год прожито, изменилось, самого тебя в изумление привело. С наблюдательного шёл на батарею, усталый, задумавшись, и не так обратил внимание на ужасающий свист *чемодана* на подлёте, как увидел по краю Дряговца: чёрный столб в три раза выше леса, а над столбом – ярко-красная шапка мелькающих отдельных вспышек, а ещё выше – летающие толстые палочки. И под грохот неимоверный ещё всё это не опустилось, как соединила голова: попал восьмидюймовый чемодан в снарядный склад батареи, и это палочками летают четырёхвершковые брёвна, а вспышками рвутся взлетевшие наши снаряды. И хоть кажется (потом уже размышляешь) живому существу неестественно бросаться в смерть, и не был санин долг присутствовать в этот миг на батарее, и никто б не удивился и не упрекнул его, если б он пришёл на десять минут позже, – Саня, не обдумывая ни секунды, со всех ног кинулся бежать на позицию, где в туче оседающей земли ещё допывали брёвна (тычком воткнулись два, будто их заколотили) и загорелся зарядный ящик

со шрапнелями. Офицера не оказалось, и батарейцев горстка, только младший фейерверкер да несколько номеров, в момент разрыва укрывшихся, – и Саня, как бежал, вызывая их за собою, кинулся к зарядному ящику. Валил дым из его стенок (это горел порох в пробитых снаряжных гильзах). Бросились и те все, предупреждая взрыв, и ожидая этого взрыва на себя, и каждый миг ещё ожидая на себя нового чемодана, чья воронка слизывает пять саженей в диаметре и четыре аршина вглубь. Но новый – не прилетел, а тем временем они топорами сбивали горящую обшивку и выбрасывали, выбрасывали уже раскалённые лотки со снарядами – и ни один не успел взорваться. И в таком скорохвате, в огне пронеслась эта работа, что Саня не успел и испугаться. И лишь когда кончили и пот вытирали, заметил он, что ноги дрожат, не держат.

Так и осталось удивлением о себе самом и о номерах, ретиво помогавших ему, – когда уже всем им пришлось по георгиевскому кресту, и армейская георгиевская дума утвердила подпоручику Лаженицыну офицерский.

Так и могла – да не раз – окончиться санина жизнь в 25 лет в этой мягкой, природной местности между Власами и Мелиховичами, с их купами высоких тополей. И если когда-нибудь фронт отсюда уйдёт и зачередят новые места опасностей и куцых солдатских радостей, всё равно это место годовой тревожной жизни навсегда уже будет теперь восприниматься как отобранная родина.

Что глаза окинут, то и жаль покинуть.

И ещё есть одна загадка: черта, никогда раньше на этой местности не существовавшая и которая потом сотрётся, запашется, лишь останется в памяти стариков, черта, разделившая два пришедших войска и тем же разделившая до полной чуждости два куса слитной обжитой земли. По тот бок черты всё должно быть такое же – и всё представляется совершенно иным. Как будто тот же тёплый кусок отечества, украшенный разбросом хуторов и кущиц, тот же шлях екатерининский, обсаженный редкими берёзами и ушедший за высотку и за реку, те же млыны ветряные, тополя и покинутые гнёзда аистов, – нет, выхват чужой земли под чужой властью.

Весной, когда Ростовский Гренадерский полк уже близко подкопался к Торчицким высоткам, была перед рассветом удачная вылазка: захватили немецкие окопы враспloh и едва не перешли Щару, да поддержки не было. В ту ночь Саня как раз дежурил на наблюдательном в переднем окопе ростовцев и с ними пошёл. Поддержать огнём он их не мог – на снаряды был наложен запрет, операция возникла в полку почти внезапно, но ногами Саня пробежал эти иссмотренные, до камешка изученные триста саженей, завалил за двухгребневую высотку и ахнул: действительно, мир там оказался другим! Не эта бесплодная, без кустика, угорная земля, но от самых немецких окопов – зелёный сбег к реке, сочные дубки, шаровые ивы, кустовые заросли у речки, и – нежный надречный утренний туманец между всем, как ласка к этим творениям. И едва-едва только стихли пулемёты и ружья – тут же рядом, незримый, встрепенулся и залился соловей – да нестеснённо, со всеми положенными оттолчками, дробью, пересвистами... С привычного места не согнала война и его!

И этот зелёный обрыв за Торчицкими высотками, туманец, неожиданный соловей – показались Сане живым раем. Какой же силой и любовью это сотворено! И как же, с двух сторон, Торчицкий обрыв и Голубовщина звенят своей вечной песнью, а в помертвелой полосе между ними, там, где ещё уцелевал трёхсаженный несшибленный Спас, тысяча людей в безумии врылись в землю и палят друг в друга, со всею техникой двадцатого века!

Эта беготня в предрассветы, с колотящимся сердцем, куда ни начальство, ни долг не посылали Саню, а понёсся он испытать первое в своей жизни наступление, сделали его как будто крылатым, лёгким и полусонным, как после любовной счастливой ночи. Была – пробежка и победа, да какая-то весёлая, без потерь. На полчаса стал Саня как будто бесп-

лотен бояться свинцового прохвата, стал нечувствителен к возникшему свисту пуль с того берега Щары.

Однако вправлено было уже и что-то иное в подпоручика Лаженицына. И при всей его бессонной безплотности и восхищении соловьем, использовал он минуты затишья и для осмотра немецких окопов – чистых, сухих, основательных, в полный рост, обложенных досками, с крепко-досчатыми полами, с зимними кабинками часовых, с бревенчатыми блиндажами, каких не могла пронять наша полевая артиллерия, и даже с бетонными укреплениями. И хотя уму и расчёту понятно было всегда, что отсюда легко просматриваются русские позиции, но, только сам поглядев через бетонные смотровые щели, поразился подпоручик, до чего же мы невыгодно, голо, незащищённо стоим, как будто выполняем правила чужой войны.

А ещё он снял в блиндаже с гвоздя великолепный цейсовский полевой бинокль с 16-кратным увеличением.

И, месяцы, месяцы потом глядя всё с прежних принижённых мест на прежде недоступные, даже более прежнего, уже пятью линиями колючки укреплённые Торчицкие высоты с верхами дубков из-за них, Саня и поверить бы не мог, что сам побывал там, если б не этот тяжёлый прекрасный бинокль, всегда на груди или у глаз, часто одолжаемый товарищами или старшими, потому что у всех были только казённые, не больше 8-кратных.

Как перо жар-птицы, в сновидении выхваченное на память и оставшееся доказательством сна.

2

Офицеры в батарее подполковника Бойе. – Боковой наблюдательный пункт. – Дневник наблюдения. – Подготовка к стрельбе. – Санино увлечение стрельбой. – Просьба о Благодарёве. – Нынешняя слабость Гренадерского корпуса. – Упавшая слава его. – Саня себя не узнаёт. – Чем мы влагаемся в ход мировых событий.

Подполковник Бойе назначил подпоручику Лаженицыну быть не в очередь на боковом наблюдательном пункте 3-й батареи у деревни Дубровны 14 октября в 10 часов утра, с тем чтобы принимать участие в стрельбах командира батареи.

Педагогически это было неправильно: уж какие три взводных командира ни достались, а надо всех трёх обучать равномерно и стрелять с очередным. Однако при той общей казни египетской воевать с неузнаваемо прореженной армией, где кадровые подлинные офицеры подменены разночинцами, а сверхсрочные унтеры – обученцами из нижних чинов, мог подполковник позволить себе не нервничать лишнего и пострелять с командиром 3-го взвода, который обучаемее и добросовестнее других, хотя тоже без военной души. Командир 1-го взвода прапорщик Чернега, из фельдфебелей, дерзкий воин, лучшего желать не надо, но в познаниях, умениях – слаб, а в готовности неровен и плохо вгонялся в строгую систему. Прапорщик Устимович, из запаса 45-летний учитель, обременённый семьёй и жизнью, к тому же присланный из пехоты по недостатке артиллерийских офицеров, числился командиром 2-го взвода лишь для страдания своего и командира батареи и не только не обещал стать порядочным артиллеристом, но хотя бы военную дисциплину усвоить ближе к костям.

Вчера и позавчера держалась устойчивая пасмурная погода – без дождя, но и без солнечного проблеска. Плотные тучи стлались и сегодня с утра, но было сухо, нехолодно, и кой-где посвечивало, обещая растянуться. А барометр шёл влево и советовал брать дождевик.

Передовой наблюдательный пункт 3-й батареи в пехотных окопах против Торчицких высот имел малый просмотр в глубину неприятеля, и для всех главных стрельб Бойе оборудовал боковой пункт, на высоте, частью отбитой у немцев. Обзор оттуда был и широкий и глубокий, но от слишком бокового расположения усложнялись правила стрельбы: виде-

лось не так, как стрелялось, шаги прицела переходили в шаги угломера и наоборот, всё это надо было в голове быстро оборачивать и соображать, Устимовича ставить туда было бесполезно, да и Чернега путал.

Последние пятьдесят саженей, ответвившись от хода сообщения Перновского полка, шёл их собственный батарейный ход, в два с половиной аршина, чтобы высокому подполковнику не очень гнутья. Сам наблюдательный был перекрыт в три наката со тяжкою брёвен проволокою, чтоб их не раздвинуло средним калибром.

Ещё раз поглядев, что небо всё светлело, желтело, обзор будет хорошим, подполковник, пригнувшись на входе, придерживая фуражку, отводя заслоняющую парусину, нырнул, а за ним ординарец. Внутри пол был ещё подрыт для подполковника, а подпоручик Лаженицын, ростом ниже, с несмелой бородкой на полподбородка, стоял на бруске у смотровой щели – и перед собою на бруствере, на подложенной фанерной доске, делал записи. При появлении командира батареи он сошёл с бруса и козырнул.

От армейской дисциплины тут было много отклонений, сразу замечаемых глазом, даже ещё не привыкшим к полутьме, но уже отметившим и двух телефонистов на чурбаках, телефоны на земляном полу, а карабины к стене, и одно дуло так пришлось, что грозит набрать земляной осыпи; три противогазных маски на гвоздях, вбитых в горбыльную обкладку. Подпоручик не скомандовал «смирно» и отдал честь без отрубистой лёгкости, хотя с прошлого года лучше; и не доложил, что происходит на наблюдательном пункте в настоящую минуту. Но упрощения, вносимые войною в устав, слишком широко разлились, чтобы возвратить их в рамки. И подполковник Бойе, со страданием обречённый до самой могилы замечать каждое отклонение от устава даже, кажется, городских прохожих, отзывался лишь на те, где выпирал вызов.

А Лаженицын и сам не знал, почему он не доложил, он готовился, и было что сказать. Но вдруг показалось ему при трёх солдатах, в тесном укрытии, что это будет стеснительно театрально. Да и робел он перед подполковником, хотя тот и голоса никогда не повышал. Чернега и виноватый всегда держался право и бойко. Лаженицын и без огреха всё какую-то вину ощущал. Брови подполковника над пенсне передвигались минимально. Глаза, кажется, постоянно имели выражение четвертьпрезрительное и полунедовольное. Взнесенные хвосты усов были так идеально ровно отмерены, что улыбка сразу бы нарушила их равновесие. Длинная шея в стоячем воротнике не оставляла развязности голове, тем более не допускалось развязности у собеседника. А весь вид был сейчас: неужели вы чем-нибудь серьёзным могли тут заниматься?

Но ни слова подполковник не произнёс, ответил небыстрым точным поднятием руки к виску, взял записи подпоручика и стал читать их молча.

Эти записи (добросовестно начатые на час раньше назначенного, без всякого внешнего одобрения заметил про себя подполковник) были обычные дежурные записи обо всех изменениях и действиях противника, с повышенным значением ничтожных событий:

«9.05 – В слуховом окне № 4 неприятель продолжает земляную работу, начатую, видимо, ночью.

9.12 – Неприятельское орудие 1 1/2 дюйма выпустило по окопу № 8 5 снарядов».

И Лаженицын тоже следил за своими строчками, какие именно читает сейчас подполковник.

«9.41 – Неприятель выпустил по северной окраине Дубровны 18 тяжёлых мин. Ущерб не причинил».

Этот налёт подполковник видел сам на подходе, из низины ему даже показалось, что бьют точно по их наблюдательному, а прямым попаданием одна такая тяжёлая мина, изблизи, могла и разворотить тут перекрытие. Но естественно, что подпоручик не докладывает

вает о близком огневом налёте как о событии. В уставе так и сказано: для установления наилучшего наблюдения командный состав артиллерии должен жертвовать собой.

Дневник стрельбы неприятельской артиллерии вёлся неопустимо в каждой батарее – на двух наблюдательных пунктах и с пушечных позиций, и потом сводился дежурным: род орудия, калибр, куда, сколько снарядов и, самое нудное, – схема перетерпленного обстрела, как легли воронки относительно наших орудий, снарядных запасов, передков, землянок. Подполковник знал, что все его взводные изнывают от этих скрупулёзных записей, обмеров и рисунков, что Чернега ляпает всё из головы, не обмеряя, Устимович кряхтит и стонет, Лаженицын выполняет через отвращение. Но никогда подполковник ни взглядом не допускал уловить, что он не одобряет этих отчётов, хоть и не допытывался, воистину ли обмеряли все воронки. В армейском порядке ничто не может быть осмеяно: начини выбивать устои, не знаешь, на каком повалится всё. Дневники эти потом сводились в общий дивизионный, подавались в управление бригады, это вскоре составляло толстые тома, управление бригады и штаб корпуса искали шкафов, потом уже полки и сараев, где бы хранить их, уж не то что анализировать по ним замысел и тактику немецкой артиллерии. Но попустить было никак нельзя, и подполковник Бойе холодно-строго просматривал отчёты взводных.

«9.55 – У православного кладбища строится, по-видимому, блиндированное долговременное сооружение».

Тут Лаженицын мягко-глуховато предложил посмотреть туда в цейсовский бинокль или в стереотрубу.

Это надо было осторожно, у немцев бывали снайперы с оптическим прицелом и разносили стереотрубы вдребезг. Немецкая передняя линия тянулась рядом, на их же высоте.

Через обзорную щель была видна вся посветлевшая округа: проступало за нашей спиной в долю яркости солнце и хорошо освещало жёлто-бурую кущу деревьев у православного кладбища, соломенные крыши деревни за ней, белый костёл в высоких Стволовичах и даже, далеко-далеко справа, крутизну над Колдычевским озером.

Бойе снял пенсне на бруствер и принял от Лаженицына его отменный бинокль. Верно, да, соображения взводного деловые. Накиданной свежей земли совсем немного, строительство в самом начале, а будет что-то капитальное. Вот и ещё цель для сегодняшней дневной программы: пока не достроились – и накрыть.

Сегодня подполковнику Бойе приказали демонстративно проделать проходы в проволочных заграждениях противника перед Екатеринославским полком, как если бы ожидалось его наступление тотчас. На самом деле намеревались только понаблюдать систему мобилизации противника к обороне.

Что и умела хорошо наша трёхдюймовая артиллерия – это размётывать проволочные заграждения. Ни прочных бревенчатых, ни тем более бетонных укреплений она не разрушала. Не парализовала тыла из-за малой дальности. Не создавала огневой завесы перед нашей наступающей пехотой – из-за настильности. После того как сняли от Голубовщины морские орудия, на всём их участке, несколько вёрст вправо и влево, разрушительную силу имел лишь недавно присоединённый гренадерам мортирный дивизион, да и тот был четырёхдюймовый, когда у немцев восьми.

– Сколько вам снарядов на пристрелку?

– Четыре...

При работе Лаженицын бывал замедлен, никогда не горячился, но это хорошее обещание в нём.

– Три. Не теряйте неожиданность. На поражение всей батареи сколько времени будете переходить?

Бойе не поощрял ни голосом, ни взглядом. Тон его был такой, что скорей всего ошибутся эти недоучки, где уж им правильно ответить. Оттого Лаженицын осторожничал.

– Минуты три.

– Не больше двух. Надо ошеломить. Все команды составьте заранее и заранее сообщите на батарею. Первые снаряды уже будут в каналах и только добрать поправку по прицелу и угломеру.

Лаженицын удивился:

– Всё буду я стрелять?

– Вы. Сколько вам нужно снарядов?

Опять с осторожным замедлением:

– Сорок?

– Надо хорошо прочистить. Берите шестьдесят.

Теперь на снарядных ящиках писали им из тыла: «Бей, не жалеи!». Не Пятнадцатый год.

А ещё подполковник Бойе терпеливо обучил всю свою батарею, с каждым наводчиком возясь, *стрелять по огню*. Этого не было в обязательном уставе, а перенималось на курсах от одного-двух генералов, не могших переубедить военное министерство, но набравших себе последователей в батареях. Вместо того чтобы командирам взводов стоять при орудиях и, по мере выстрелов справа налево, кричать: «Второе!» – «Третье!» – «Четвёртое!», как делалось во всей российской артиллерии, – тут каждый наводчик, держась за шнур, смотрел на наводчика правой себя. Очередь батареи получалась дружной, слитной – и все командиры взводов освобождались для работы пополезней.

Лаженицын углубился в расчёты карандашом на гладком месте дощечки, записывал в книжку дежурного наблюдателя отметки по реперам. Спешки не было, а хорошо бы и побыстрей. Соображал неплохо, но слишком по-штатски любил пересмотреть и взвесить доводы. Однако Бойе надеялся: наловчится со временем. Он верил, что преданность войне – природное мужское свойство и в любом его можно разбудить и развить.

Дежурному телефонисту, татарину с трубкой, висящей прямо у уха, шнурком под фуражку, велел подпоручик вызвать Благодарёва, фейерверкера первого орудия, разговаривал с ним, присев на корточки к телефону. Потом с другими взводами. Потом и Бойе по пехотному телефону брал согласие у командира полка на начало стрельбы.

Лаженицын возбудился, волновался не ошибиться. Неожиданно большая стрельба, и вся на нём, хотя и под косым недовольным взглядом командира батареи, нависавшего как экзаменатор. Но ни одной готовой команды подполковник не остановил. Расчёты сами вели и торопили. Три скачка прицела на поражение, распределение снарядов по трём скачкам, не забыть доворот одного орудия на новую постройку у кладбища. И – лихой этот момент, когда малая сила твоего голоса, однако уже и родственная металлу тех стволов, – «беглый! огонь!!» – утысячеряется в грохоте, слабость твоих рук и короткий их размах замедляются дальним швырком и ударом снарядов, а ты, неожиданный для себя громовержец, только смотришь в бинокль и видишь серые кустисто-лохматые снопы разрывов, а в них взлетают скрутки колючей проволоки, огрызки многорядных берёзовых колец – всё хитро-мудрое наплетенье, столькими людьми во столько ночей устроенное, а теперь в три минуты тобою кинутое в воздух – на разрыв, разлёт и вперевёрт. Именно при большом расходе снарядов, как сегодня, ощущаешь эту силу, далеко за пределами отдельного человека, и испытываешь... гордость?..

Невозможно. Гордость?.. И приятен неосудительный тон подполковника:

– Нич-чего...

И жалко, что всё это – демонстрация, никто в те проходы не пойдёт.

А под шинелью на груди – Станислав 3-й степени, однако с мечами, чьей скромной истории командир батареи тоже участник. А возносительней того – георгиевский крест за пожарный миг на батареейной позиции. Этот свеженький Георгий в лёгком касании как-то

перетягивает и поворачивает все представления о целях и долге человека. Не просто отметка о прошлом, но и обязанность на будущее.

Удачная работа. Смышлёное применение правил стрельбы. Хотя шестьюдесятью снарядами кого-то же и убили, и ранили сегодня в немецких окопах.

А как-то — неощутимо.

А два перелетевших снаряда попали в православное кладбище и черно взметнулись там. Нарушая чьи-то могилы.

Записав, как полагалось, число выпущенных снарядов, их назначение и результат, Лаженицын готов был и к следующей работе. А дальше пошла ещё интересней: намеревался подполковник сегодня поработать с новыми 36-секундными трубками, прибывшими к ним пока малой партией. Два года бригада воевала с 22-секундными, дальность шрапнельного выстрела пять вёрст, и при такой местности, как сейчас, когда нельзя было для пушек найти закрытой позиции ближе Дряговца, вся их шрапнельная стрельба велась лишь по самому переднему немецкой обороны. Трубки в 36 секунд горения удлиняли выстрел, захватывали лишние две версты в глубину неприятеля.

Готовили новые данные по развёрнутой на бруствере карте-двухвёрстке, где *спичкой* называет безграмотная пехота две версты. Командовал подпоручик выстрелы, потом наблюдали за далёкими белопушистыми дымками своих шрапнелей. В этой стрельбе уже не было грозности, одна математическая и внешняя красота. Истолковывали результаты.

Эта их стрельба никак особенно не меняла мирно-боевого дня у неприятеля. Редкие одиночные выстрелы не сгущались ни к какой определённой цели, были мерным явлением надфронтного воздуха. Только умный наблюдатель мог бы догадаться, отчего так глубоки разрывы, что не позиции сменили, а появились у русских новые трубки.

Один раз под их шрапнелью понесло повозку и свалило вместе с конями. Ещё раз подтянули они разрывы, сколько могли, к ствольническому костёлу, а там у немцев безусловно наблюдательный пункт.

Была гордость в этой приравненности работы и мысли подполковника и подпоручика. Попирали локтями одомашненную малую поверхность брустверной земли, уложенную дощечками, чертили, считали и толковали не командно-подчинённо, а — даже бы сказать дружески, если бы голос подполковника не обладал особой формой вежливости, с ледком отдаления, не исчезающим никогда. И всё же невольно своя отличённость среди других офицеров батареи, своя особая смышлёность и пригодность к делу поднимали Саню.

Разрывы шрапнелей от раза к разу становились всё белей, всё ярче и красивей. И только в конце подполковник и подпоручик поняли отчего: за двух— или трёхчасовой работой изменилась погода: никакого уже полусолнечного просвета, а тучи плотнились, темнели. И замглилась, закрылась дальняя крутизна над Колдычевским озером.

Всё, что хотел, подполковник Бойе выполнил и собрался уходить. Тут Саня решился ещё раз приступить об обещанном отпуске орудийному фейерверкеру Благодарёву. Решился, хотя подполковник отучил подчинённых по одному вопросу обращаться дважды: разрешено ли, нет, одним разом должно кончаться. Но сегодня так чувствовал Саня, что можно попытаться.

Благодарёва намеревались отпустить ещё месяц назад. Был слух, однако, что есть Государев приказ прекратить отпуска нижним чинам, и подзадерживали их. Тут пришёл и приказ Главнокомандующего фронтом Эверта: с 1 октября отпусков нижним чинам не давать. Как и всякий приказ с большого верха, здесь, на низах армии, он казался бессмысленным. Если бы были признаки близких больших передвижений фронта, подготовки к наступлению у нас или у немцев — но этого не ощущалось и не могло возникнуть внезапно. Всего верней, они целую зиму вот так же тут простоят, никуда не продвинутся, и без серьёзных боёв. Был бы недостаток в людях, нечем заменить отпускников — но разные виды недостатков испы-

тывал корпус, только не в людской численности. Так славно бы ездили люди пока к семьям и к хозяйству, и были отличившиеся, – нет! Высокий далёкий Главнокомандующий, никогда тут не бывавший, только по своей немецкой фамилии известный, и то лишь офицерам, перерубил десяткам тысяч солдат их радостную надежду, схватывающую сердце. И уж честно бы объявить перед строем, пусть слышат и знают все, – опять-таки нет! Приказ был как бы секретный, командиры батарей прочли его под расписку, а солдатам, которым обещано и которые ждут, должны были невразумительно, стеснительно отказывать взводные командиры.

Этих общих аргументов Саня, конечно, не привлёк, подполковник не принял бы сомнений в мудрости эвертовского приказа, но лишь об одном Благодарёве, таком лёгком при невзгодах, таком охотливом на всякое обучение. А главное – во время пожара растаскивал снаряды, лез в опасность, но в штабных дебрях был затерян его наградный лист, и лишь недавно, позже других, пришёл крест и Благодарёву, и так уж заслужен был отпуск со всех сторон – очерёдный, внеочерёдный, – а вот отрубили! Уже не в землянке, при телефонистах, а за подполковником под парусину нырнувши в ход сообщения:

– Господин полковник, осмелюсь ещё раз... С Благодарёвым... Очень уж обидно, стыдно. Так у нас вся служба развалится. И Георгий ему затеривался. Нельзя ли что... именно для него?

Светлей, чем в блиндаже, но и тут уже сильно посерело. Подполковник был без пенсне, козырёк фуражки насунут к бровям, и не так много оставалось усам ещё взброситься, чтоб и козырька достичь. Симметричен, прочен, твёрд. Вдруг, как бы принимая подпоручика в сообщники, сниженным голосом:

– Конфиденциально скажу вам, что генерал-майор Белькович сейчас уехал, а заменять его будет полковник Смысловский. И вот он – может отпустить, на свой риск. Я пожалуй... – подумал, – обращусь к нему. Или в удобный момент позову вас.

Саня обрадовался, будто в отпуск его самого:

– Вот спасибо, вот выручили, господин полковник!

Безулыбчивый подполковник всем неотклонным видом выражал, что на службе «спасибо» не бывает.

Ушли с ординарцем, ещё долго – по ходам сообщения.

Поработали как будто и ничего. Всей боевой частью занимался Бойе сам. А выбудь завтра он из строя – кто поведёт в следующие часы главную стрельбу? Подполковник и готовил к этому Лаженицына, впрочем не объявляя ему о том. Ни начальника связи, ни начальника разведки, по штату теперь обязательных, в их батарею тоже не достало, заменены были унтерами. И не хватало по всей Гренадерской бригаде опытных фейерверкеров, нераспорядительностью первого периода войны натисканных даже и в пехоту и там перебитых.

На нынешнем участке, под Крошином, держали немцы против Гренадерского корпуса – всего дивизию, и то ландверную, второго разряда, – а не ощущали гренадеры своего перевеса, способности двинуть тараном. Не ландверисты, конечно, держали их, но многие средства технического перевеса немцев – тяжёлая артиллерия, избыток снарядов, пристрелка с аэропланной коррекцией и поражающие русских солдат новинки: сперва бомбомёты, потом миномёты, блиндированные автомобили, газовые атаки, теперь траншейные пушки и огнемёты. А на днях 22-й ландверный полк, стоявший как раз вот здесь, левой Дубровны, был обнаружен... в Румынии! Там обнаружен, а его исчезновение отсюда гренадеры пропустили... Показывал неприятель, во что он ставит русских гренадеров: против корпуса и польской стрелковой бригады оставил тонкой цепочкой ландверную дивизию без полка. Это оскорбление Бойе воспринимал как собственное, ему лично.

Но так заклинилась позиционная война, что и перевеса использовать было нельзя: на целых армейских участках всё связалось и окостенело. Так усложнились, возвысились

все решения войны, что нельзя было и пошевелинуться меньше, чем целым фронтом. Оставались – поиски и демонстрации.

Такой поиск был устроен трое суток назад левее их, на участке 2-й Гренадерской дивизии. После полуночи пустили на неприятеля газ, рассчитывая, что ветер достаточно устойчиво дует восточными румбами от Крошина и спящие в окопах немцы будут все отравлены. Но когда после рассеяния газа и при артиллерийском сопровождении батальон Самогитского полка подошёл к немецкой проволоке – он был внезапно освещён прожекторами, шквально обстрелян и отошёл как попало, потеряв 55 гренадеров и двух офицеров.

Да весь их Гренадерский корпус с более чем столетней историей, участник Бородинского боя и взятия Парижа, давно ничем не подкреплял свою старую славу. И сегодня репутация корпуса не стояла высоко, мало кто мог истолковать, какое превосходство или какую издавнюю особенность выражали жёлтые солдатские погоны, жёлтые просветы на офицерских, а на пуговицах – граната с пламенем. Корпус не отличился в турецкой войне, вовсе не участвовал в маньчжурской, а Ростовский полк даже был причастен к московскому бунту 1905 года, хотя 1-я артиллерийская бригада, напротив, обстреливала восставших. Корпус многие годы стоял в Москве, оттого офицерский состав пополнялся и лучшими выпускниками училищ, и пустыми баловнями с протекциями, и ещё давал промежуточное, проходное назначение офицерам гвардии и генштабистам, кто не успевал и не намеревался срастись с гренадерской дивизией. Менялся, дёргался и характер командования – то ведение непростительно мягкое, то непомерно грубое, как у Мрозовского, не отличавшего превосходительное от самовластного, и это лишало постоянных офицеров уверенности, вынуждало опасаться начальства более, чем боевого неуспеха. Корпусу достались тяжёлые бои в 14-м и 15-м годах, и лишь единственный стал победой – под Тарнавкой, остальные – по преимуществу неудачны, иногда с крупными поражениями, как под Гораем и на Висле. Если же полки одерживали свои отдельные победы, то происходило это обычно в переподчинении, под чужим командованием. У начальника 1-й Гренадерской дивизии Постовского побед вообще не бывало. Корпусной командир Мрозовский растеривал гренадеров в злосчастных сражениях, расстроил полковые и батарейные хозяйства, конский состав – и с повышением перешёл командовать Московским военным округом. (Не подвержена осуждению августейшая воля Верховного вождя российской армии.) За два года войны Гренадерский корпус пробыл в резерве всего пять дней, вот уже больше года стоял в болотистых низинах, непрерывно ведя сапёрные работы, переуступал изрытые участки соседям, и снова копал и копал еженощно, чтобы сблизиться с неприятелем на штурмовую дистанцию.

За эти годы коренным гренадерам, как Бойе, не оставлено было первой офицерской радости – гордиться своею частью. Преграждено было им прошелестить старыми знаменами, а оставалось лишь свою фигуру держать молодецки да повседневным корпением как-то подтаскивать всех этих подмененных офицеров и солдатиков под ветшающую сень XIX века.

Тем временем на наблюдательном пункте малословного, тихого Занигатдинова сменил Пенхержевский и с сильным польским акцентом проверял линии. А сменный наблюдатель, подпрапорщик, ещё не пришёл. И хотя не было у подпоручика обязанности ожидать его, но этикет требовал ещё остаться и после командира батареи. Он снова подошёл к обзорной щели, стоял, наблюдал, иногда записывал:

«15.10 – Пулемётная щель № 2 оживлённой других. Била по нашим передвижениям в 3-м батальоне.

15.36 – Густой миномётный обстрел из-за Торчицких высот по окопам 1-го батальона. Мин до сорока».

Стояли миномёты как раз в том райском месте, за Торчицким обрывом...

Хороший день прошёл. Довольное состояние от удачной работы, отличие перед командиром и теперь надежда с Благодарёвым соединились в Сане. Хорошо.

Хорошо, перекадывал он по брустверу долгий зазубренный осколок, влетевший к ним сегодня в щель при утренних близких разрывах.

Хорошо-хорошо, а не по себе. Отличился – а неловкость: лучше других соображает – вот и будут его выдвигать. На *это*.

Да такую миллионную войну кто бы перенёс, если б каждого надо было убивать лицом к лицу, видя? Например, из своего револьвера Саня никогда в человека не стрелял.

А за осмысленными расчётами, углами, дальностями, транспортиром, ощущаешь сторонность. Безвинность.

Наблюдать было всё хуже, видимость быстро сокращалась. Уже не видно было тополовой придорожной обсадки к Стволовичам. И даже близкое кладбище затягивалось влажной пеленой.

А хорошего настроения не осталось. И чем он сегодня увлёкся? Отчего так был возбуждён? Как холодным осенним помелом выметало из груди.

В такую пасмурность точнее наблюдаются вспышки орудий и опасней стрелять самим: становится видно, как пламя вылизывает из ствола, выдаёт.

Выметало из груди как мокрые старые листья, и так пусто-пусто становилось. Стоял у щели, рассматривал сегодняшнего себя деятельного. И не узнавал.

Всё меньше виделось, всё короче. Затихали стрельба и движение с обеих сторон, всех давила мокрая предвечерняя мгла.

Одиноко – и виновно. Безвинно – и виновно. И никому этого не расскажешь.

Закрапал и дождь. Понемногу, но не переставая. В блиндаже наблюдательного стало ещё сырей и прознобистей. Сегодня не сегодня, а начиналась третья военная зима, и даже офицеру трудно было не чувствовать угнетённости.

Бинокль повесив на шею, под шинель, нахлобучив отлогу плаща поверх фуражки, побрёл и подпоручик на батарею. В глинистом ходе уже было скользко, и он отирался о мокреющие стенки – об одну противогазной сумкой, о другую – крупной кобурой ненужного револьвера.

По брезенту, по голове, слышался ровный стук капель.

А довольно уже было серо, чтобы пойти к Дряговцу и открытым местом. Саня сильно подпрыгнул, навис на край траншеи, измазавшись о глиняную стенку, вылез на траву – и бодро пошёл теперь напрямик, скорей в свою тёплую землянку, да обсушиться, да поест горячего. Посвободнело, что не месил унизительно грязь по норе, а шёл, как отпущено человеку.

К чему он мечтал в жизни приложиться – к словесности, к философии – не видно, будет ли когда. Вот и много досужего времени, хоть и стихи пиши – а ведь бросил, не пишется. А чем он вложится в общий ход событий – это вот такими стрелебными днями, развороченными проволочными заграждениями, подавленными пулемётами, посеченными перебегающими фигурками. И многими-многими донесеньями, отчётами, кроками, написанными, нарисованными его рукой.

И так же у его солдат – Благодарёва, Занигатдинова, Жгаря, Хомуёвникова, кроме хорошего или плохого обращения с оружием, амуницией и лошадьми, смётки по службе и выполнения устава – у каждого была ведь ещё своя долгая жизнь, своя любимая местность, своя любимая или нелюбимая жена; и ещё по несколько детей; потом у каждого хозяйство или ремесло, и много соображений вокруг того и свои замыслы; и кони – собственные, не с казённой биркой в хвосте, или охота, рыболовство, или сад; и всем этим, а не величием России и не враждою к Вильгельму жил каждый из них, – и только об этом, кто внятнее, кто невнятнее, они в ночных землянках рассказывают друг другу, да и офицеру, пого-

вори с ними ласково. В родных деревнях и местечках ещё что-то знают о них другие по их делам, но это не выходит дальше околицы. И вся подлинная суть их жизни никогда не будет никому сообщена – и как ей отозваться на движении человечества в крупных чертах? Чем же Улезько, Хомуёвников или Пенхержевский повлияют на судьбу своей страны, а то и всей Европы, – это чисткой орудийного ствола, проворностью подле пушки, с лопатой, да быстротой сращения телефонного кабеля.

Но если движение человечества не складывается из подлинной жизни людей – что тогда люди? и что – человечество?

Сжился с бедою, как со своей головою

3

В офицерской землянке. – Прапорщик Чернега. – Бюрократия позиционного стояния. – Просмотр приказов. – Спор о евреях.

Три взводных командира жили в общей землянке, построенной в сухое тёплое время. Она нигде не мокрела, довольно глубока, так что нагибались только в двери, и была перекрыта привозными шестивершковыми сосновыми лежнями вперекрест. Стены одеты жердинником, пол настлан досками. Батарейный жестянщик сколотил им печку, хваткую на дрова, с весёлой гулкой тягой. И когда натоплена, эта землянка была теплей и уютней любой комнаты. Между столбами приладились полки, забились гвозди и гвоздки, развесились шинели, шашки, револьверы, полевые сумки, фуражки, полотенца и – гитара, на которой играли, каждый по-своему, и Саня и Чернега. Маленькое окошко выходило в донце прокопа, днём бывал свет. Строганный стол на скрещенных ножках давал простору и для еды, и для офицерских занятий, хотя теснило одно другое. Походных раскладных офицерских кроватей не было ни у кого из троих, а при откопе оставлена одна высокая и длинная земляная лежанка Устимовича, «купеческая» называли её, да к другой стене пристроены две жердяных койки друг над другом: не то чтоб не было места поставить третью на полу, но придумал так Чернега, потому что любил спать и сидеть где-нибудь повыше, как на печи или полатах. Хотя он был старше Сани на шесть лет, а плотней и тяжелей намного, он легко взбирался наверх двумя взмахами и оттуда шлёпался прыжком. Уж теперь и вообразить эту землянку нельзя было иначе, как с Чернегою, зубоскалящим сверху вниз. Света настольной лампы туда не хватало читать, да Чернега и смаку не имел читать.

Так и сейчас, когда Саня, промоклый, пригнулся в двери и вошёл в землянку (вестовой Цыж, подкарауля подпоручика, уже кинулся к своей землянке разогревать обед), Терентий лежал наверху, считая брёвна в потолке. Перевалился на бок и рассматривал пришедшего, как он мокрое, тяжёлое снимал с себя и развешивал.

– М-м-м, это уж такой разошёлся?

Пока Саня шёл – не замечал, а дождь-то усиливался всю дорогу. Печка не горела, но тепло в землянке.

На шаровидную голову Чернеги с толстыми щеками, малыми ушами нельзя было посмотреть и не улыбнуться:

– Уже забрался? Не рано?

– Та вот, сидит куцый и думает – куды ему хвост девать.

– И – куды ж?

– Отакой дощ? И тёмно?

– Сейчас ещё видно немного, а через полчаса в яму свалишься.

Переваленный на бок, сюда лицом, не одетый, не раздетый, уже в сорочке, но перехвачен подтяжками и в шароварах, а ноги босые:

– Не знаю. Шлёпать до Густы? Чи ни?

Одинаково было Чернеге доодеться или дораздеться. А Сане приятней, чтоб он остался, – Устимович на дежурстве, почему-то не хотелось одному. Но посоветовал, как считал для приятеля лучше:

– Пока ещё видно – шлёпай быстро.

– А назад? – надул Чернега губы, пыхтел, как трубач в мундштук. Так упирался, как будто не сметана ждала там его сырную голову («с польской споткался – был бы глодный!»).

Саня, уже без шинели, без ремня и в гимнастёрке, мокроватой по-за плечами, навывпуск (с Георгием, так и попадает сам в косое зрение), с натягом стянул мокрые сапоги, надел чувяки из обрезанных валенок, была у них тут такая домашняя сменная обувь, на одного Устимовича не налезала, и стал прохаживаться по нешаткому неструганому полу. По дурной погоде – да пошли Бог спокойный вечер и спокойную ночь. Бывает тут, в землянке, прикрито и покойно, как дома не всегда.

– Да! – вспомнил. – Тут кидала, наверно, шестидюймовая, – близко?

– Прямо по второй батарее! – пружкал губами Чернега, безпечно.

– А я только от Дубровны отходил – вдруг, слышу, бьют, десять снарядов – и за Дряговец. Сказать, что ответили нам, – так будто не нам. А где-то близко.

– По второй батарее, – кивал Чернега. – В одном орудии щит погнуло, колесо снесло. Троих ранило. А лошади далеко стоят, ничего.

– А кто видел?

– Сам ходил.

– Да ты ж дома сидел?

– Так тут близко, сбегал.

Чернега б – да на месте усидел, полверсты сбегать-посмотреть! Толстота ничуть не мешала ему прыгать и бегать, толстота его вся была силовая.

– Чевердина не знаешь там такого, хоботного? Длинного, с бородой мочалистой? Тагильский.

– Да, кажется. Да.

– В живот его. Везти бояться, не довезут.

Опять холодным помелом, из груди.

Вот как. Сушись, уютно, распоясался, чувяки. А солдат рядом Богу душу отдаёт. Да уж привыкнуть бы, кинет ночью и на нас шестидюймовый – не помогут брёвна наката.

А Цыж – проворный, заботливый, как дядька, несёт духовитые щи так щи!

– Просто запахом сыт! Ну и Цыж!

Да и хлеба мягкий сукрой, поперёк всей хлебины отрезанный, это же надо так ещё отрезать, долгим овалом, чтоб от края до края сколько раз откусить, жевнуть, пока добраться. И ещё отдельно – луковичка сырая.

– Ах и Цыж! – усаживался Саня за стол и ложку скорей окунал.

Уже в летах, пятеро внуков, подвижный хлопотной Цыж столовал всех троих взводных. Это Саня и предложил, чтоб не ухаживал за каждым отдельный денщик, стеснительно, а один бы всех кормил, других примкнули к строевому делу.

Но запах достигал наверх пуще низового. И Чернега, избочась на верхней койке, втянул широким носом:

– Цыж! А – щей не осталось?

– Эх, вашбродь, – сожалел небритый Цыж, будто самому не хватило, – последние вычерпал.

Откинулся Чернега на подушку. Саня хоть очень раззарился на щи, а позвал:

– Иди, хлебни, уступлю.

– Не надо, – сказал Чернега в потолок, – ты сегодня назяб.

– Да иди, ладно!

– А греча – есть лишняя, вашбродь. Сейчас гречу принесу, удобренная!

– Так давай, не томи! – скомандовал Чернега.

Уковылял Цыж поспешной развалочкой.

Чернега постучал по барабану живота:

– Два часа как пообедал, а из-за тебя вот... У Густы небось и курёнок припасён. Пойти, что ли?

За позициями невыселенные деревни давно привыкли к войне, жили своей обыденной жизнью, кроме обычных крестьянских заработков открыт им был извоз для армии, плотникам – укреплять ходы сообщений, парнишкам и девкам по 16 лет – копать вторые линии окопов, всем платили и ещё всех кормили с солдатских кухонь. И мужики, кому подходил призыв, некоторые как-то принимаемы были в ближние части, и в их батарею тоже. И во многих избах стояли военные постояльцы, порой и на поле выходили за хозяев, и бельё хозяйкам отдавая – не так стирать, как в подарок: армия богатая, всё новое выдавала. И тайно ещё укрепляя и расширяя эту и без того широкую семью, иные удальцы, как Чернега, завели в деревнях полюбовниц и хаживали к ним.

Свесил Чернега в шароварах босые ноги с короткими крупноуставными пальцами и шевелил ими вопросительно:

– Пойти, что ли?.. Хоть на два дня весёлая будет. А то заскулит.

– Ну, ты ж не скулишь, как-то живёшь.

Когда Чернега на своей койке сидел, голова его, мягко облепленная недыбленными волосами, была под самым накатом, фуражки надеть уже нельзя, тем более рук поднять. Так он раскинул их, как растягивая широченную гармонь, и затрясся мясистым телом под сорочкой:

– Ну, сравнил! Ну ты, Санюха, скажешь! Ну, уж чего не знаешь – бы не лез! Да у баб рази – как у нас? А отчего, ты думаешь, они весёлые или хмурые? да всё от этого, было или не было.

Мало что – сверху нависал, но – силища, но – смех уверенный, спорить с Чернегою было не Сане. В студенчестве это всё понималось настолько тоньше, а в армии, в постоянно-плотной мужской среде, в казарменных вечерних разговорах – сплошь все говорили так, или не говорили вслух другого. Поражён был, обижен за женщин Саня, но спорить – немел, какой у него был опыт?

– Ну, Терентий, не только ж от этого, – всё же заикнулся.

– А я тебе говорю – только от этого! – крикнул Терентий и схлопнул звонко ладонями. – Другой причины – не бывает! Кажется, замучилась, ног не таскает, а только пощекоти, а?!.. Иногда и подумаешь, правда: что-то у неё кручина на сердце? Може, горе какое? А повалил, отлежалась, отряхнулась – и такая сразу весёлая, бойкая к печке побежала пышки печь! – хохотал Чернега. – Простофиля ты, Санька. Да впрочем, молод. Ещё насмотришься!

И столько раз уж он Саню вокруг этого на смех поднимал. Но всем саниным представлениям о жизни и человеке претил такой низкий взгляд. Не могло бы так быть! Никак этого быть не могло!

А Цыж нёс гречневую кашу: подпоручику – с обеденной порцией мяса, прапорщику – просто так, но торчал из миски черенок деревянной ложки стоймя.

– Сюда, сюда! – брал Чернега миску сверху, не спускаясь. И вот уже широкую деревянную ложку вваливал в рот, нисколько этим не раздирая губ. А лбом чуть не касался верхних брёвен. – Ничего-о, ничего-о... А у Густы б ещё и молочком залил.

Со вкусом кашу убирал. Присмотрелся, как Цыж наследил на полу мокредью и шевырюжками глины:

– Эт' такая слякоть? О здесь, у нас? Не, не пойду. Дуракив нэма.

Миску сбросил Цыжу, ноги опять вскинул:

– Отчего солдат гладок? – поел да и набок.

Перекатился на спину. Смотрел в брёвна.

И вслух размышлял:

– А думаешь, Григорий чем возвысился? Да слухала б она его иначе? Давно б уже в Сибирь шибанула. Значит, мужик справный. Бабе чуть послабься – сразу она брыкается.

Всё было Чернеге ясно, и возражать ему бесполезно. В том чаще и состоял их разговор с Саней, что спорить – хоть и не начинай.

А – дружили.

Саня кончил обедать, сидел над опустевшим столом, рассеянно собирал и в рот закидывал последние хлебные крошки:

– Да-а... Роковые Гришки на Россию. Как нам худо, так и Гришка появляется. То Отрепьев, то...

Отпыхнулся Чернега:

– Да при чём тут Гришка? Войну им – Гришка что ль начал? Самих в сортир потянуло. Вот и за...лись.

Но всё-таки... всё-таки Сербия?.. Бельгия?.. И откуда-то же брались эти фотографии и рассказы о зверствах немцев, как нашим пленным резали уши и носы? (Правда, на их участке никогда ничего подобного не бывало.) А Чернега, по своей силе, подвижности и приспособленности к веселью воюя легче других, однако понимал эту войну куда мрачнее Сани – лишь как всеобщую затянувшуюся чуму, у которой ни цели, ни смысла быть не может.

Саня поднялся от стола, Терентий вспомнил:

– Э-э, ты отдыхать? Подожди, голубчик, ещё поработай!

– А что?

– А вон, приказы лежат, – кивнул на кровать Устимовича. Саня и правда видел ворох, не обратил внимания. – Уже все прочли, ты последний. Читай, читай и расписывайся. Барон заходил, взять хотел – я для тебя задержал, до утра.

«Барон» был барон Рокоссовский, старший офицер 2-й батареи. Этот «барон» почему-то Чернеге особенно приходился. Баронов, графов, князей он сплошь не любил, заранее материл, но что-то чудно и гордо ему было, что вот, узнав себя офицером, стал почти наравне с *бароном*, в одном офицерском собрании. И не звал его никогда ни по фамилии, ни капитаном, а всегда – барон. Кадровые между собой чинились, гордились, сравнивались: мол, Михайловское училище старше Константиновского, – а мы вот, судженско-сумские, с вашим бароном рядом, и хоть очи ваши повылазьте!

Подошёл Саня к широкой кровати Устимовича, охватил двумя руками эту россыпь подшивок, подколок, скрепок, на белой, бурой, розовой бумаге, то в ширину, то в длину и с подгибами, исполненную многими писарскими почерками, разными пишущими машинками, лентой фиолетовой и чёрной, – о, с каким усердием это всё составлялось! Сколько же тут было читать! если подряд и подробно – полночи верных. Да, вот это равняло позиционное стояние с жизнью тыла. Когда грозно двигался фронт и столбы пожаров стояли в небо, тогда почему-то не писали и к сведению не приносили этих несчётных приказов и распоряжений, бурная подвижная война текла и без них. Но едва она замедлялась, становилась легче и могла бы дать передых, покой, – как бить начинала эта прорва приказов и с каждым месяцем неподвижной войны всё увеличивалась. Много писанья требовали с офицеров, но и наверху не ленились! Из боязни же как-нибудь при случае не оправдаться доку-

ментами войска подолгу не сдавали и не уничтожали старых дел, а все эти кипы таскали, возили с собою.

Однако, делать нечего, просмотреть и что-то в голове иметь надо, не то завтра же и ошибёшься.

Тут были приказы по Западному фронту, по Второй армии, по Гренадерскому корпусу, по 1-й Гренадерской бригаде – и только по их дивизиону приказания, к счастью, отдавались не письменно, хотя и была в дивизионе своя пишущая машинка и без дела тоже не стояла, все журналы боевых действий перепечатывались на ней.

На чистый конец стола переложил Саня этот ворох, туда пододвинул керосиновую лампу и стал смотреть подряд, какая бумажка попадалась сверху: приказы на расходование сумм... Казначей бригады титулярному советнику... вычеты с офицерских чинов на офицерскую библиотеку... в пользу семей убитых и раненых солдат... из офицерского заёмного капитала... из суммы бригадного собрания... Деньги на покупку богослужебных книг дивизионному мулле... Поименованным писарям дозволяется держать экзамен на право удостоения их к...

Как ни бегло, как ни с досадой, но только глазами пробежать – не меньше тут двух часов. А совсем не этого хотелось. Прильнувшая холодная полоска тоски требовала чего-то чистого, на чём душа успокаивается.

...Фельдшер имярек командирится в Несвиж за медикаментами... в Минск за покупкою керосина... Младший фейерверкер 5-й батареи вступил в законный брак с крестьянской девицей... внести в его служебную книжку... Прапорщику такому-то выдать пособие в размере 4-месячного оклада на покупку упряжной лошади и экипажа...

– Да ты чего ж про себя, ты вслух читай!

– Зачем вслух?

– А я – плохо читал, я ещё послушаю.

– Терентий, это долго...

– А куда тебе торопиться?

– Да тебе ж идти надо...

– Да я, может, и не пойду. Читай! – Как будто книгу приключений или любовную историю ожидая, удобно устроился Чернега на боку, лицом к Сане, голова шаровая к подушке. – Читай!

Не мог Саня отказать... Сколько глаза просматривали и сколько язык выборматывал вслух, пропуская, пропуская...

– ...Прибавочное жалованье за георгиевскую медаль... Повозка для противогазного имущества... Согласно приказа военного министра №... нижеследующих подпрапорщиков допустить к экзамену на прапорщиков...

– Так-то так, – возразил Чернега. – А всё же *хвит*-фебелем лучше. Власти больше. – (А Саня пока два приказа просмотрел про себя.) – Зато на прапорщиках армия держится... Ну, чего ж перестал?

– ...с корпусного вещевого склада в Минске офицерские сапоги отпускаются по 16 р. 25 к....

– Хо-го! Кусаются. А купить надо, мои худоваты уже.

– С ...числа начать выдачу нижним чинам ватных шаровар, телогреек, бушлатов, полушубков, байковых портянок...

– Идэ лютый, пытае – чи обутый.

– ...по провиантскому, приварочному, чайному, табачному, мыльному довольствию... Ввиду сокращения производства коровьего масла в Империи, с 1 октября сего года заменить 50 % коровьего масла растительным... С 15 октября нижним чинам сахару в натуре давать только 12 золотников, а 6 золотников заменять деньгами...

– Да-а-а... В Четырнадцатом году валили в день по фунту мяса, хоть брюхо лопни, да четверть фунта сала, широко жили, собакам кидали. Теперь бы тем салом кашку заправлять.

Цыж это слышал, медный чайник внося, ещё пар из носика:

– Ничего, вашбродь, грешно жаловаться. Полфунта мяса и теперь есть. И фунт сала на неделю.

Цыж незаметно делал различие, что настоящие офицеры только с подпоручика, их называл «вашблагородь», а прапорщиков – «вашбродь». Но так это быстро языком, ухватить некогда.

Налил густо заварного да опять же пахучего в подпоручикову глиняную кружку. Заваривал Цыж по два раза в день, оттого всегда духовито.

А сахар у господ офицеров – в сахарнице.

И тарелки убирая, и со стола вытирая:

– Что ещё, вашблагородь, прикажете?

– Мёду жбан! – протрубил Чернега.

А Цыж, уже с пепелиной в волосах, улыбаясь, тряпку белую – на рукав, как полотенце трактирный половой:

– Так что, рой отлетел, вашбродь. Мёд – на тот год.

Этим тоже владел Цыж – что война любит весёлый дух. Знал он, что у господ офицеров всегда заботы и неприятности. Может, и своих у него доставало, а покушать подать не просто надо, но весело: как будто домой пришли, к жёнке.

А стеснение – постоянное, что тебе услуживает годный тебе в отцы. Привыкнуть к этому невозможно. И, к печке покосясь – приготовлено всё и там аккуратно, улыбнулся подпоручик:

– Ничего больше не надо, иди ложись. Да, только вот что: найди Благодарёва и скажи – пусть он ко мне придёт... ну, через полчаса.

На очищенном, протёртом столе разложась теперь пошире, читал дальше. Тут шла пачка приказов по цынге. Цынга схватила бригаду в середине лета: хлеба, каш, мяса и рыбы вдосталь, но ни зелени, ни молодого картофеля, и не закупить в соседних сёлах, а привозить самим из Империи запрещено распоряжением Главнокомандующего. Да не только из-за пищи, но от постоянных ночных работ весны и лета, от недостатка отдыха разразилась цынга внезапно, и болели и сдавали многие, и не так быстро было придумано, разрешено и устроено: отбирать слабосильных и предрасположенных, помещать в санатории Земсоюза, где ждал их полный отдых и зелень; частям добывать картофель, капусту и бураки собственным попечением, даже и внутри Империи. И вот уже цынга отошла, а запоздалые приказы настаивали и настаивали: сколько раз в день и как именно проветривать землянки; добавлять окна, строить нары, на земле солдатам спать не давать или прокладывать ветки под матами; и как кого когда отводить на отдых...

– Голосом, голосом! – требовал неуёмный Чернега.

– Я думал, ты спишь. А может чайку?

– Не, без мёда не буду.

– ...Недоуздки, уздечки, попоны, скребницы, щётки, овсяные торбы, лошадиные противогазы... Коня Шарлатана, срок службы 1909, переименовываю в казённо-офицерского, а казённо-офицерскую кобылу Шелкунью – в строевую для нижних чинов...

– Шелкунья, подожди, это гнедо-лысенькая, на передней правой по щётку? Хороша ведь ещё! Меняет, лучше нашёл?

Уж своего-то дивизиона коней Чернега всех знал в лицо и наперечёт, но и из других дивизионов многих. Тут дальше длинное шло перечисление о перемещении лошадей из разряда в разряд – офицерских собственных, строевых фейерверкских, верховых артиллерий-

ских, упряжных артиллерийских, обозных – Шороха, Шведа, Шута, Шатобриана, Штопора, Шурина, Шмеля, Шансонетку, Шпиона, Шанхая, Щедрого, и обо всех передаваемых шла подробная опись по статьям, мастям, лысинам, звёздочкам, особым приметам, и всё это подписывал лично командир бригады, читая ли, не читая, а Саня о чужих батареях и дивизионах пропускал бы, но Чернега оживился, свесил как плеть руку толстую, короткую, помахивал, требовал, хвалил и бранил:

– Да разве в ремонтных депо это теперь соблюдают – по разрядам?! Рассылают как-нибудь, лишь бы счётом. Пока на месте стоим – ничего, а ну-ка завтра *начнись*? Каждая лошадь должна своему месту соответствовать!

Саня и сам любил лошадей и понимал кое-что, но не так же, как Чернега, не с такою страстью: по второму разу слушал и по каждому коню соглашался или не соглашался, видел небрежение или чьё-то жульничество.

– ...При проверке... у некоторых лошадей оба задних шипа в подкове острые, что ведёт к засечкам...

– Сволочи! Вас самих бы так подковать!

– ...Нижепоименованных собственных офицерских зачислить на казённое довольствие... Нижепоименованных уволить в первобытное состояние... Из бригадного скакового капитала в московском Купеческом банке...

Так ему всласть всех лошадей перечёл и только тогда увидел:

– Да ты надо мной смеёшься, что ли? Ты главные приказы – вниз подложил?

– Так это Устимович. Как читал, так и кидал, значит, подниз.

– А ты б наоборот!

– Так он мне тоже вслух читал, я-то что?

Раздосадовался Саня. Тихий вечер, на что-то хорошее годился, а пробалтывался зря, через эту труху.

– Не, Санюха! – просил Чернега, не давал просматривать. – Голосом читай! Голосом!

Наверняка хитрил Чернега: два раза прослушать, а самому ни разу не читать. «Я из книжек не понимаю, я только сам по себе понимаю...»

А тут-то и пошли оперативные приказы. ...В полках иметь «газовых комендантов» – специально проинструктированных офицеров.

Уже был такой у них в дивизионе, Устимович. Ему и читать.

– ...На батареях иметь таблицы переноса заградительного огня со своих участков на соседние... Командирам корпусов...

– Сла-Богу, не нам! – гулко зевнул Чернега.

– ...Избрать, на какой из позиций... представить на кальке... В октябре усилить траншейные работы...

Какая-то шумящая пустота от прокрута всей приказной машины через твою голову. Одичание.

– ...Проволочную сеть довести до трёх-четырёх полос, каждая шириной... придать брустверам надлежащую высоту, замаскировать... Дивизионному и корпусному резервам выделять ежедневно на работы одну четверть своего состава...

– Не, не дадут покою! А цыngu – лечи! Левоу рукой одно, правоу другое... На нежонде Польска стоёе, але Россия – щегульне.¹

Пяток немецких разрывов трёхдюймовых лёг не так далеко. Чуть звякнуло стекло в оконце, помигала лампа, и несколько крошек земли сыпанулось из наката.

¹ На беспорядке Польша стоит, но Россия – ещё больше.

Дальше много приказов шло о связи. ...Несмотря на запрещение, продолжают использовать голый телеграфный провод... запрещается заземление односторонней связи вблизи неприятеля...

Последние месяцы была переполошка с подслушиванием. Всё удивлялись, что немцы знают расположение и смену наших подразделений. Провели опыты с усилителем – оказывается, телефон легко перехватывается. И теперь:

– ...штабам армий выработать код слов и фраз и представить в штазап для выработки единого кода... Ну, дурачье, зачем же *единого*?.. По Западному фронту. Сегодня, в день тезоименитства нашего Державного Вождя, Наследника Цесаревича, войска Западного фронта всеподданнейше приносят свои поздравления, возносят горячие молитвы... В ответ Его Величеству благоугодно было осчастливить меня следующей телеграммой... Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, сотнях, батареях и командах... Главзап генерал-от-инфантерии Эверт... Его же: ввиду того, что до сих пор попадают случаи назначения евреев на писарские и хозяйственные должности, а равно и в гурты скота, что безусловно недопустимо... немедленно убрать и впредь не назначать...

– Уб-рать хаймов! – подтвердил Чернега плетью-рукой наотмашь. – Так и липнут в нестроевые, как мухи к печке. Где лоб подставлять – это не их!

Остановился Саня читать, поднял ясные глаза:

– Но, Терентий, это же – развитые ребята. Есть студенты, у меня Бару – университет кончил. Из них каждый третий не то что писарем, мог бы и офицером быть.

– Да ты ополоумел – офицером?! – перекатился Чернега на самый край койки, грудью на последнюю жердь, вот грохнется на пол! – Да куды ж нас такие офицеры заведут? Они накомандуют!

– Ну, смотря какие. Есть, говорят, и георгиевские кавалеры.

– Вот разве что – говорят! Где-то есть, кто-то видел! Да сам подумай – на хрена им за Россию воевать?

Просто потешался Терентий над санькиной непонятностью – чего тут не видеть, дураку ясно:

– Да ты пусти одного, завтра их десять будет! На голову сядут! Ты ещё глупенок, с ними не жил. Это говорится – равноправие. Только мы друг друга не вытягиваем, а они – вытягивают. И из равноправия сразу будет ихо-правие! Да ты завтра надень погоны на твоего Бейнаровича? – послезавтра сам из батареи сбежишь!

На Бейнаровича? Ну, Бейнаровича, с его черно-горящими глазами, всегда злыми, может быть, это Чернега подметил. Но – Бару? Образованный, воспитанный, сдержанный. Под его ироничным взглядом Сане всегда неловко: как ему приказывать, каким голосом, если он университет кончил, а Саня не кончил?

– Страна – наша или ихняя? – покачивал Чернега свешенной рукой-молотилкой. – У вас там, в степях, мабуть их нет? А пожил бы ты в Харьковской губернии, я б тебя тогда послушал.

Но хотя Саня и тихий был, а не поддавался легко. Не сразу скажет, и с улыбкой ласковой, а на своём:

– Так если страна не ихняя – зачем тогда мы их вообще в армию берём? Это несправедливо. Тогда и в армию не брать.

– Да хоть и не брать! – подарил Чернега. – Хоть и не брать, много не потеряем. Но – жители наши! живут-то у нас! Их не брать – другим обида, тогда и никого не брать, только кацапов да хохлов? Так оно и было поначалу – сартов не брали, кавказцев... Финнов и сейчас. Знаешь, сколько нашего брата перебили? В одной Восточной Пруссии?

Терентий только что вниз не соскакивал, а изъёрзался на своём малом верхнем просторе. Саня, хоть у него место было встать и пройтись, смирно сидел, облокотясь о стол, локтем поверх всех приказов, пальцы вроссыпь по лбу держа у пшеничных волос. Размышлял:

– Вот видишь, как получается: нагнетение взаимного недоверия. Государство не хочет считать евреев настоящими гражданами, подозревая, что они и сами себя не считают. А евреи не хотят искренно защищать эту страну, подозревая, что здесь всё равно благодарности не заслужишь. Какой же выход? Кому же начинать?

– Да ты сам не из них ли, едритская сила? – хохотал Чернега, откатясь на спину и руки разводя гармошкой. – Что ты так заботишься, кому начинать? Хоть бы и никому. Приказ ясный: гнать жидов из штабов! А почему они во всех штабах засели, это справедливо? Это – не обидно? Говорю тебе: ты ещё глупой, с ними не жил, не знаешь. Это народ такой особенный, сцепленный, пролазчивый. Это не зря, что они Христа распяли.

Саня отнял голову от руки, и наверх строго:

– Терентий, этим не шути, зря не кидайся. А думаешь – мы бы не распяли? Если б Он не из Назарета, а из Суздаля пришёл, к нам первым, – мы б, русские, Его не распяли?

Перед глубокой серьёзностью своего приятеля, в редкие минуты, старший перед младшим, тишел. Ещё с последней шуткой в голосе отговаривался:

– Мы б? Не. Мы б – не-е...

Да вопрос-то не сегодняшний, чего и цепляться.

А Саня – как о сегодняшнем, а Саня если взялся, мягкий-мягкий, а не свернёшь, хоть ему чурбаки на голове коли:

– Да *любой* народ отверг бы и предал Его! – понимаешь? Любой! – И даже дрогнул. – Это – в замысле. Невместимо это никому: пришёл – и прямо говорит, что он – от Бога, что он – сын Божий и принёс нам Божью волю! Кто это перенесёт? Как не побить? Как не распять? И за меньшее побивали. Нестерпимо человечеству принять откровение прямо от Бога. Надо ему долго-долго ползти и тыкаться, чтобы – из своего опыта будто.

4

Пришёл Арсений Благодарёв. – Надежда на отпуск. – Чернега задирает. – Истории села Каменки. – Санина тревога. – Под ночную тьмой. – Умер Чевердин.

Постучались:

– Дозвольте войти, вашбродь?

Голос – сдерживаемой силы, чтоб не слишком раздаться. А и через дверь узнаешь:

– Зайди, зайди, Благодарёв!

Нагибая голову и плечи даже, осторожно вошёл дюжий Благодарёв, осторожно дверь прикрыл, чтоб не стукнуть. Тогда только распрямился, и тоже не резко, не по-строевому, а всё ж от порядка без надобности не отходя, – руку к фуражке:

– По вашему вызову, ваше благородие.

Тут ему от землянки до землянки переступить пятьдесят шагов, без шинели, прикраплен дождиком по заношенным фейерверкским погонам с жёлтой каймой. Может, уже и ложился, а явился не распустёхой – пояс крепко схвачен, и на нём – кривой бебут, оружие батарейца, а темляк из белой кожи, фейерверкский. Не хмур, а без резвости: вызвали – пришёл, вот он, нате, приказывайте, хоть и вечер тёмный, да служба военная.

А у подпоручика защемила мысль, не договоренная Чернеге, защемила, помешала всякой другой – и сама забылась, ушла. Из-за этого – рассеянно, не переведясь:

– Так, Арсений... так... – и заметив, что нехорошо получилось, исправить надо, – присядь! садись, – к столу показал.

Благодарёв же понял, что утешения не будет – садись, мол, разговор не короткий, с порога обрадовать тебя нечем. Снял фуражку. (А волосы – уже и подлинней, в надежде домой.)

Он так и располагал, что не обрадуют, а всё-таки и не без надеи шёл: вдруг для *того?*.. Хотя, по всему солдатскому опыту: начальство, замок запря, отпирать не станет, не для того запирался. И как раз сейчас у себя в землянке около копчушки-гасника, на фанерную дощечку положив готовый складной листок для письма, дописывал на одной стороне, где место осталось, что, видно, скоро не приедет, как ему обещали. А места там – не разгонишься, на таком листике. Как он для заклейки сложен, на передней стороне зелёно-бурое поле, и по нему в атаку несётся страшная конница, выхватя сабли, это ужас на дороге ей попасться, да такие, сла-Богу, нигде теперь не скачут, но в деревне посмотрят – со страху затрясутся. Марка же – не клеится, с позиций значит. А на задней стороне – голубочки летят с письмами в клювах. И писать тоже-ть негде. Только мелко-мелко припечатано, у кого глаза хорошие: «дозволено военною цензурой». А ежели развернуть теперь – так две стороны и внутри. Но влеве опять же всё готово – красивыми такими синими буквами, как лучший писарь не напишет: «Дорогие и любезные мои родители! В первых строках моего письма спешу уведомить вас, что я по милости Всевышнего жив и здоров, чего и вам от глубины души желаю. И сообщаю я вам, что службой я доволен и начальство у меня хорошее. Так что обо мне не печальтесь и не кручиньтесь». И – всё. И хочешь – сразу приветы передавай и на том подписывайся, готово письмо. Но вправе есть ещё местечко для нескольких слов, и можешь... А что можешь? Мол, жёнке моей Катерине велю свёкра и свекровь слушаться и маленьких блюсти, и ждать меня с надеждой. Хоть бы и место было, а законы, по которым письма пишутся, не позволяют прямо открыто Катёне писать как главному человеку. Что завечаешь – о том не пишет никто, срам. Не дозволены в письмах пустые ласковые слова, не то что потаённые, какие только на ухо шепчутся, – письмо должно голосом читаться родственникам и соседям, кто ни придёт. И пожалиться неловко, что вот не допускают в отпуск заслуженный, эка тошно и темно, а весной война разгорится – там уж не поездишь. Тут Цыж и забеги:

– Сенька! Чой-то тебя подпоручик кличет. Через полчаса – к ему. И – не ругать, не похоже.

И занежился Сенька: а вдруг? а может, чего переменялось? Уж в такую тихую, тёмную ночь по какой боевой надобности стал бы подпоручик его вызывать – да за полчаса?

Ночи теперь холодные, и спит Катёна в избе со всеми, да и к дитю же вставать. А вдруг увидал её поздней осенью в холодных снях спящую по-молодому, скрытую полушубком с головой, она под полушубок спрячется – не найдёшь. И – шаг бы к ней! шаг!

Да кто-нибудь там ли и не шагает? Каково бабёнышке-ядрышку столько вылежать, высидеть, выждать?

Не-е. Не.

Но зря позанялся надеждою. Садись, мол, будем толковать...

А подпоручик улыбался добро, заглаживал:

– Так вот, Арсений. Ты – надежды не теряй! Сегодня я с подполковником говорил. Может, что для тебя и сделаем.

Издаем! може что для тебя издаем! – так и полыхнуло по нутру. Батюшки, не ослышался? Да отцы родные, вы только пустите меня, я вам потом за две пушки навоюю!

И – поплыли, поплыли шлёпистые губы Арсения.

И рад сообщить радостью и опасаясь пообещать лишнего, разъяснял подпоручик:

– Понимаешь: не наверняка. Но – надеюсь. Только: я тебе это говорю для бодрости. А ты пока – никому, не будоражь. Потому что вообще отпуска остаются запрещены.

И как все эти месяцы, когда терялся на Арсения наградный лист, никогда он не ворчал, взглядом не упрекал, не надолго затмевалось лицо его, даже старался перед подпоручиком

деликатно скрыть свою обиду, – так и сейчас не благодарил никакими особыми словами, а только губ на место свести не мог и ладони, на коленях опрокинутые, расслабились всеми пальцами.

Двух его Георгиев не было сейчас на нём, они на шинели. А что за гордость – в своё село с двумя Георгиями! С позиций – домой! – всколачивается сердце у отпускника.

Переимчивый праздник, и у всех отпускающих тоже. Подпоручик, уже отделённый от сельской жизни университетом и многими расширенными понятиями, чувствовал сам как парень, на два года моложе Благодарёва.

А старше даже и Цыжа. Подпоручику дана мудрость судить – хорош ли солдат или плох, не повысит ли его по номеру у пушки, или из бомбардиров в фейерверкеры, или перевести в разведку, читать карты. Но Благодарёва и от пушки не отнять, бойко собирает-разбирает замок, быстро устанавливает и читает прицел, панораму, понимает устройство снаряда, действие трубок, – без таких помощников во взводе офицеру жизни нет. По сегодняшнему упавшему солдатскому уровню – это ли не гренадер?

Но Чернега, босые ноги свеся, загорланил сверху:

– А за что ему отпуск? Пусть послужит! Он уже ходил.

Взводный – не свой, а испортить всякий может. Коль никому не дают. Воззрился на него Арсений и мягко, перед офицером, хоть и босоногим:

– То – за *первого*...

– А первого – за что? – строго спрашивал Чернега. – Небось в штабе где сидел?

– Так за что бы тогда? – И знал Благодарёв, что Чернега его задирает, и всё ж тона его насмешливого не смел перенять. Не мог тот иметь силы на его отпуск, а может и заимеет.

– Да в штабах-то их и сыплют, Егорииев, парень! – гудел Чернега. – Вот именно из-за Егория я и думаю – ты при штабе был. С каким-то полковником, говоришь, всё ходил. Где эт ты ходил?

– Да вы ж знаете, – улыбался Арсений.

Ещё и это «вы» ни к ляду выговаривать, офицер из фельдфебелей. Что это «вы»? – двое их, что ли? Богу и тому «ты» говорят.

– Ничего не знаю! – кричал Чернега.

– В Пруссии.

– Скажешь, в окружении, что ль?

– Так о-ахватали, – руками показал Арсений.

– Ох, врёшь, вот врёшь! – тараторил Чернега, болтая ногами и одобрительно крутя сырной головой на Благодарёва. – Слушай, Санюха, отдай мне его во взвод. Ни в какой ему отпуск не нужно. Я ему и тут бабу найду, полячку! – а-а! И отпускать буду с позиций без всякого подполковника. Вот только врёт – зачем? Если ты там был, в самсоновском окружении, – почему ж я тебя не видел? Где ты ходил?

– Так и я же вас не видел, – осклабился Благодарёв посмелей. – Сколько прошли – а вас не видали. Вы-то – были, что ль?

Прищурился.

– Ах, ты так со мной разговариваешь! – закричал Чернега. – Да я тебя сейчас вот на гауптвахту!

Прыг! – и на пол, ногами твёрдо-пружинисто, как кот. И босые ноги сунул в старые галоши, тоже у них дежурные такие стояли, для ночного выхода, но уже размером на Устиновича.

Положил Благодарёву на плечо тяжелоокруглую руку:

– Айда ко мне, соглашайся. Будем до баб вместе ходить.

Благодарёв с тем же прищуром, уже без неловкости, и из сидяча:

– А к детям?

- Фу-у, добра! Да новых сделаем, старых забудешь. Сколько у тебя?
- Двое.
- Кто да кто?
- Сын да дочь.
- Чего ж ты на девку скостился? А я думал, ты орёл. Чего ж тебя и в отпуск? Сколько ей?
- Девять месяцев.
- Как назвал?
- Апраксией.
- Ладно, езжай, только сына заделывай. Сыновья ещё, ах, понадобятся!
- На сорочку плащ надел, на голову ничего и, волоча галоши, вышел до ветру.

Напористый Чернега такое расспросил, чего свой взводный и не знал о Благодарёве. Чернега бездельник-бездельник, а всё успевает и о конях заметить, и о людях разузнать. А у Сани много времени уходит на думанье, часами он нуждается быть один и думать. И упускает. Вот стояла где-то рядом та главная жизнь Благодарёва, которая чужда его поворству у пушки и не повлияет на ход мировой истории.

- А какое село твоё?
- Каменка. По помещику – Хвощёво.
- Большое?
- Да дворов четыреста. Мужских душ боле тыщи.
- А помещик – кто?
- Давыдов, Юрий Васильич. Только он – в Тамбове, на высоте.
- На какой же?

Сделал Благодарёв думающее движение кожи по лбу:

- Земство, что ль. Да распродались нам же... Да по арендам... Да их трое братьев, пораскидались.
- Куда ж?

Фуражку опрокинутую на коленях придерживая, принимая к себе всю благоприятственность, Арсений рассказывал с полуулыбкой:

– Василь Васильич вместе с дьяконовым сыном собирали мужиков в кустах, сговаривали против царя. Ну а мужики доложили исправнику. Схватился Василь Васильич с супругой – да во Ржаксу, а там дождались третьего звонка – и в поезд перебежали. А в Тамбове, мол, Юрий Васильич к ним на вокзале вышел и уже выправленные паспорта дал. Так и умахнули. Во Францию. Рассказывают.

- Так это когда было?

– Да я ещё малой был. – Покатал морщинку по лбу. Лоб веселел, всё больше походило, что отпуск будет. – Ещё до бунтов.

Сыростью махнул из двери Чернега. Фыркал, и крутил мокрой головой, как пёс:

- Чего? Бунтовать?.. Ну, тьмища!.. Когда бунтовали?

– Да уж лет десяток. Да в Каменке самой у нас, сказать, бунта и не было. В Александровке жгли, в Пановых Кустах жгли, Анохина купца разграбили, Солововых... А у нас Василь Васильич и всегда говаривал: вы остальных кругом грабьте, а я и так отдам! А тут староста Мохов собрал сход: «Мужики! Бывает, мол, воздержимся? Чужое добро – оно выпрет в ребро». Наши и установили: воздержаться. И в Волхонщине так же, рядом.

Чернега вылез из галош босиком на пол.

– Не, не пойду расхлюпываться. Больше поспит, раньше к коровам встанет. Сань, а печку не раздуешь?

- Да тепло.
- Поди вон, выскочи. Я-то наверху не окоченею.

Толстый в груди, в поясу, в ногах, не столько взлез, об угловатый выступ столбика, сколько вскинулся, почти вспрыгнул наверх – и плюхнулся на свою койку, так что жерди качнулись, вогнулись, а выпрямились, крепко сработано. Сверху:

– И чем кончилось?

– А – воскорях пришли казаки, плетьюми разбираться. Генералу и докладывают: в Каменке, мол, имения не тронули. Та-ак? Тогда за ухватку выдать им на водку двадцать пять рублёв. Выкатили бочку – и миром пропили. А в Фёдоровке вповалку мужиков пороли каждого. Зимой дело было, на снегу секли. А дале повёл генерал тех казаков на Туголуково. И там сильно пороли.

– В Туголукове – бунтари? – как со строем здороваясь, весело окрикнул Чернега.

– Та-ам народ дюже волю любит. Та-ам на кулачках бьются что ни воскресенье. Без краски ни один мужик с поля не уходит.

– Ладно! – оценил Чернега. – Езжай к своей бабе! – Подбил подушку кулаком. – Эх, перышка под головашку, – повернулся на бок, спиной к землянке, одеяло натащил.

У подпоручика забота: хорошо, а если поедешь – кем тебя заменим?

Обдумали. Справится?

– Ты его подготавливай вместо себя. И сам наготове. Чуть только разрешение получим – чтоб ты в полчаса убрался. Отменят, передумают – а тебя уже нет.

– Да ваше благородие! Да вы мне середь сна бумагу суньте, я только портянки уверну и в пять минут! Все штабы стороной обойду и на станцию!

В двери угнувшись, ушёл.

Чернега уже сопел.

А на Саню опять потянуло похлаживающей тревогой.

Это бывало с ним: в разговоре, в делах что-то процарапает по сердцу, даже точно не заметишь – что, но вот всё затемняется, сникает, что казалось со смыслом – уже ни к чему. И надо – уединиться, осознать без помехи: что именно процарапало. И как исправить? И бывает, что осознанием, перетерпением, обещанием, трудом – сглаживается.

Теперь сидел за столом, окунувшись в ладони, – и выступило: Чевердин! Почему-то – Чевердин из 2-й батареи, которому Саня никакого вреда не принёс.

Ещё б на своей батарее и тотчас в ответ на его стрельбу – тогда бы понятно. А тут – не было разумной связи.

Нет, не так, а: ландверный офицер, кто команду в телефон крикнул, никогда ведь про этого Чевердина не узнает. Так, наверно, и Саня *там* похоронил сегодня нескольких. Для командования русской армии очень желательно, и вся военная деятельность без того теряет смысл, иначе лицемерно носить военный мундир, надо снимать и идти в арестантские роты. А всё-таки Саня не так бы задумался, если б – не Чевердин. Не задумалось, само завязалось: умрёт? не умрёт?

Сейчас в пустой холодеющей землянке, уронив глаза в ладони, Саня сидел и собирал, собирал клочки раздёрганной, рассеянной души, чтобы как-то залечиться.

Проведен был, что называется, успешный боевой день. На редкость большая и безошибочная стрельба, несомненное одобрение подполковника. И вот, офицер, кем менее всего ожидал в жизни стать, офицер, от которого ждут уверенных распоряжений (и предательство было бы их не делать, погубишь всех своих!), он – растерянным чувствовал себя, впустую многократно прокрученным, до полной потери смысла себя. Вхолостую, и хуже – во вред, прокручивалась вся его жизнь, задуманная, кажется, так светло. И худший исход был – не то, что убьют в двадцать пять лет, а что он и пятьдесят проживёт, прокручиваясь ножом в чьей-то мясорубке.

И ни сослуживцы-прапорщики, ни командир батареи, ни, домой поезжай, отец и родные братья его – не могли ему тут облегчить.

Накинув плащ и в тех же сменных спадающих галошах, Саня вышел наверх.

Мгла была полная: ночь безлунная и в тучах, и под дождём. Не ступить ни шагу, только на память да на ощупь. Год знакомое место не различить, не узнать, даже верхушек знакомых деревьев против неба – где обуглено, где сшиблено, где расщеплено.

И ракет не бросала передняя линия.

И не стреляли. И ветра не было. Только естественный, миротворный похлесток дождя – о ветви, о листья, о землю. От него – ещё глубже тишина.

И полная невидимость мира. Ни Стволовичей, ни Юшкевичей с белыми костёлами. Ни Польши. Ни России. Ни Германии. И под невидимым тучевым глубоко-тёмным небом – один человек.

Но в маленькой землянке было ненаполненно. А здесь – полнота. И простое, немудрое и нестыдное, повседневное человеческое действие. Чистосердечное, созерцательное общение с темнотой, с дождиком, со всей природой. Со всех сторон, всем телом принимаешь в себя мир.

И Саня стоял. Привыкал к темноте. Принимал на себя дождик. И звуки его о плащ.

Переступил по скользкости несколько шагов – увиделись один-два слабых отсвета из земляночных оконных углублений.

Вскинули ракету. Красную. Немцы. Из-за того, что окопы сближены, они часто ночью бросают. Наши – нет, экономят.

Взлетела ракета, распахнулась бордово-алым, каким-то худшим из красных цветов, – и от невидимого тёмного, но верного Божьего неба отрезала попыхивающий зловеющий красный сегмент. И, наступая этим сегментом, посветила сюда, за три версты, на себе показав и те изломанные, покорёженные, и ещё целые деревья.

И, вздрагивая, вздрагивая, опала. Погасла.

Но в глазах сохранялась краснота и чёрточки деревьев.

И ещё стоял Саня, лицом вверх, к мерному дождику.

Становилось примирительно.

Однако послышались шаги, по-лесному ещё издали.

Мокрое шлёпанье. Хруст задетых кустов.

Кто-то шёл, шёл, а всё не подходил.

Один человек. Ближе уже.

– Кто идёт? – спросил Саня не окриком часового, тот подальше стоял, у орудий, но и твёрдо, здесь не шути.

– Свои. Отец Северьян, – раздался домашний голос.

– Отец Северьян? – обрадовался. Вот не загадывал! А хорошо как. – А это – Лаженицын. Здравствуйте.

– Здравствуйте, Лаженицын, – приветливо отозвался бригадный священник.

– Вы с дороги не сбились?

– Да немного сбился.

– Идите сюда. Вот, на голос.

Шурша и шлёпая, подошёл священник совсем близко.

– Куда ж вы, отец Северьян, так поздно?

– Хочу в штаб вернуться...

– Да куда вы сейчас? В яму свалитесь. Или в лужу по колено. Не хотите ли у нас заночевать?

– Да мне утром завтра служить.

– Так это уже свет будет, другое дело. А сейчас и подстрелят вас, поди, часовые. А у нас в землянке место свободное.

– Действительно свободное? – Вот уж не военный голос, ни одной интонации, усвоенной всеми нами, другими. И – усталый.

– Действительно. Устимович на дежурстве. Дайте руку. – Взял холодную мокрую. – Идёмте. Вы издалека?

– Со второй батареи.

– Да-а! – вспомнил Саня. А он и не совместил... – Там раненые?

Священник ногой зацепился.

– Один умер.

– Не Чевердин??

– Вы знали его?

5

Отец Северьян в упадке духа. – Отклонённая благодать. – А кто же мы для старообрядцев? – Троицын день в храме на Рогожской. – Мор на староверов. – И из-за чего? – Разделённые христиане. – Церковь ни в чём не грешна? – В чём Саня отошёл от Толстого. – Да Толстой христианин ли. – Этика и смирение. – Отвергнутые тайны бытия. – В немощи.

Отец Северьян был в круглой суконной шапке, сером безформенном долгополом пальто, каких в гражданской жизни вообще не носят, а на позициях у священников приняты, и в сапогах. В руках – трость и малый саквояжик, с которым всюду он ходил: с принадлежностями службы.

Увидя наверху широкую спину спящего, булыжно-круглый затылок, снизил голос:

– Удобно ли? Разбудим.

– Чернегу? Да если в землянку снаряд попадёт – он не проснётся.

Ещё раз оговорился священник, что вполне бы дошёл. Но уловя, что, и правда, тут не из вежливости уговаривают, снял шапку, вовсе мокрую, – и тогда расправились чёрные выющиеся, густые волосы. Борода у него была такая же густая, но подстриженная коротко.

Снял шапку, ещё не отдал – стал глазами искать по стенам, по верхам, по углам. И мог не найти, как часто в офицерских землянках среди многих развешанных предметов. Но вот увидел: в затемнённом месте на угловом столбе висело маленькое распятие, такое, что помещалось в карман гимнастёрки.

Это Саня и повесил. В Польше подобрал при отступлении. А то могло и не быть. Как неловко бы.

На католическое распятие перекрестясь, обернулся священник снова к Сане, отдавал и пальто. Оно всей мокротой прилипло к рясе, Саня стягивал силой.

– Э-э, да у вас и ряса мокрая. А ложитесь-ка вы сразу в постель? Небось и на ногах мокрое. А я печку протоплю, всё сразу высохнет.

– Да неудобно?..

– Да – чего же? Мы зимой по двенадцать часов и спим, на всякий случай. А вот и ваша лежанка, вот эта, полуторная.

И отец Северьян больше не чинился – признался, что правда хочется сразу лечь. Да и видно было, что он не только устал, но – в упадке, но – удручён.

Большой нагрудный крест на металлической цепочке выложил на стол – как тяжесть, ослабевшими руками. И снял с груди кожаный мешочек с дарами.

На жердяной стене, на приспособленных для того колышках, Саня распялил пошире пальто и рясу.

В нижней сорочке, очень белой, ещё чернее стала борода и привоздушенные, несмиемые волосы отца Северьяна, глубже тёмные глаза.

Сразу и лёг, полуукрывшись, приподнятый подушками. Но глаз не смежал.

А подпоручик с удовольствием растапливал. При Цыже заботы немного, всё у него заготовлено по сортам: растопка, дрова потоньше, потолще, посуше, помокрей. И подле печки – табуреточка для истопника, вполвысоты, как раз перед грудью открываешь дверку. И кочерёжка на месте. И от последней протопки зола уже и пробрана и вынесена, пылить не надо. Только возьми несколько сосновых лучинок, подожги, уставь, чтоб огонёк забирал вверх по щепистому тельцу их, – и тогда осторожно прислоняй одну сухую палочку, другую.

Потрескивало. Бралось.

В санином настроении лучшего ночного гостя и быть не могло.

Только гостю самому было не до Сани. На одеяло положенные руки не шевелились. Ослабли губы. Не двигались глаза.

Но и молчаливым своим присутствием что-то уже он принёс. Почему-то не ныло так. Наполнялось.

Потрескивало.

Через накат землянки совсем не бывает слышно дождя о землю, даже в приокошечной ямке.

И стрельбы никакой.

Не вставая с табуретки, Саня снял кружок с ведра, жестяною кружкой набрал в начищенный медный чайник воды, кочергой конфорку отодвинул, поставил чайник на прямой огонь.

Подкладывал. Живительно, бодро хватался огонь, при открытой дверце печи даже больше света давая в землянку сейчас, чем керосиновая лампа, – и света весёлого, молодого.

Чернега там у себя наверху громко храпанул – и проснулся? В компанию принимать его? Нет, лишь ворочнул своё слитное тело на другой бок, но так же звучно посапливал что в нетопленной, что в топленной.

Взялась печка – и погуживала.

Отец Северьян глубоко выдохнул. Ещё. Ещё. С выдохами облегчаясь, как бывает.

Саня не частил оглядываться. Но сбоку сверху – ощущал на себе взгляд.

Что-то – наполнилось. Слаб человек в одиночестве. Просто рядом душа – и уже насколько устойчивей.

Отец Северьян был в бригаде меньше года. Виделись, перемалвливались понемногу. В общем-то – и не знакомы. Но живостью, неутомимостью, упорством даже учиться ездить верхом – нравилось Сане, как он хочет слиться с бригадой.

И ещё раз выдыхая, уже не усталость, а страдание, священник сказал:

– Тяжко. Отпускать душу, которая в тебе и не нуждается. Когда отвечает умирающий: чем же вы меня напутствуете, когда у вас у самого благодати нет?

Ощущая, что взглядом и лицом помешает, Саня не оборачивался, в печку глядел. Действительно, служба у священника в век маловерия: с исповедью, с отпущением грехов – навязывайся, кому, может быть, совсем и не нужно. И такие слова ищи, чтоб и обряд не приунизить, и человеку бы подходило. И оттолкнут – а ты опять приступай, и всё снова выговаривай, с непотерянным чувством.

– Был Чевердин – старообрядец.

– Ах во-о-от? – только теперь понял Саня. И сразу представился ему Чевердин – высокий, с тёмно-рыжей бородой. И вдруг теперь объяснилась большая самостоятельность его взгляда – из знающих был мужиков. И представилось, как эти глаза могли заградно отталкивать священника.

– Отказался от исповеди, от причастия. Я ему – дорогу перегораживаю...

Во-о-от что...

И что же, правда, священнику? Отступиться? – права нет. Подступиться? – права нет. Священник всегда обязан быть выше людей, откуда взять сил? А вот – и голосом убитым:

– Мусульманам – мы присылаем муллу. А старообрядцам своим, корневым, русским – никого, обойдутся. Для поповцев – один есть, на весь Западный фронт. Тело их – мы требуем через воинского начальника. Россию защищать – тут они нашего лона. А душа – не нашего.

Алый свет прыгал из неприкрытой дверцы. Саня ушёл в печные переблески, не отводясь. Отвергающих причастие – сжигать, был Софьин указ. А покорившихся причастию – сжигать вослед. Отрывали нижнюю челюсть, засовывая в глотку *истинное* причастие. И чтоб не принять кощунственного и не отдаться слабости – они сжигались сами. И свои же церковные книги мы толкали в тот же огонь – кем же и мниться им могли, как не слугами антихристовыми? И – как через это всё теперь продраться? кому объяснять?

Покосился. Священник закрыл веки. Был край и его сил. Хорошо, что добрёл до ночлега.

Саня подкладывал – и отодвигался от печки.

Живучи в Москве, он бывал на Рогожском. Ещё перед храмом, на переходах – густая добротность и значимость бородачей, особенно строгие брови женщин и нерассеянные отроки. Исконное обличье трёхвековой давности, уже несовременная степенность, а вместе и благодущие – к нам!.. На Троицын день в храме – белое море, как ангелами наполнено: это женщины, отдельно стоя, все сплошь – в одинаковых белых гладких платках особой серебрящейся выделки. Иконостас – без накладок, риз, завитушек, строгая коричневая единость, – одна молитва, и поёжишься перед Спасом Ярое Око. И о пеньи не скажешь, что напев красив, как у нас, – а гремят бороны в кафтанах, забирает. И два паникадила громоздких под сводами, одно лампадное, другое свечевое, и вдруг надвигается сбоку через толпу высоченная лестница, как для осады крепостей, – и по ней восходит, с земли на небо, служитель в чёрном кафтане со свечой, там крестится в высоте и начинает одну за другой зажигать – иные лёжа и свиснув, другие – едва дотягиваясь вверх. И медленно-медленно рукой поворачивает всю махину паникадила. А в конце службы так же взлезает и гасит каждую свечу колпачком. Электричество же мгновенное не вспыхнет у них никогда. Зато в миг единый по всему храму, по трём тысячам человек – троекратное крестное знамение или земной поклон. И кажется: это мы все – преходим, а они – не прейдут.

Печка гудела, калилась уже вишнево – и слала доброе тепло по землянке. А много ли тут надо? – брёвнами и жердями замкнулось пространство, и начинала высыхать мокрая одежда по стенам, и гостю не нужна натягивать одеяло на грудь и плечи. А сорочка его белая-белая оттеняла черноту обросшей головы, а на спине лёжа – он сам казался как больной, если не как умирающий.

– Бывал я у них, – сказал Саня. – Разговаривал. Когда ощутишь, как это перед ними зинуло – не бездна, не пропасть, но – щель безширная, косая, тёмная, внизу набитая трупами, а выше – срывчатая безвыходность. Для них, в то время, не как для нас: вся жизнь была в вере – и вдруг меняют. То – проклинали трёхперстие, теперь – только трёхперстие правильно, а двуперстие проклято. Как же этого вместе с ними не сложишь: 1000-летнее царство плюс число антихриста 666 – а собор заклетья и проклятья в лето 1667-е от Рождества Христова, как подстроено рожками? И царь православный Тишайший задабривает подарками магометанского султана, чтобы тот восстановил низложенных бродячих патриархов – и тем подкрепил истоптание одних православных другими. И кто с мордвинским ожесточением саморучно разбивает иконы в кремлёвском соборе – он ещё ли остаётся патриарх Руси? Да равнодушным, корыстным ничего не стоит снести, хоть завтра опять наоборот проклинайте. А в ком колотится правда – вот тот не согласился, вот того уничтожали, тот бежал

в леса. Это не просто был мор без разбору – но на лучшую часть народа. А тут же – навалился и Пётр. Можно их понять: режь наши головы, не тронь наши бороды!

– Они веруют, как однажды научили при крещеньи Руси – и почему ж они раскольники? Вдруг им говорят: и деды, и отцы, и вы до сих пор верили неправильно, будем менять.

Священник открыл веки. Сказал на самой малой растрате голоса:

– Веры никто не менял. Меняли обряд. Это и подлежит изменениям. Устойчивость в подробностях есть косность.

Небойкий подпоручик однако:

– А реформаторство в подробностях есть мелочность. В устойчивости – большое добро. В наш век, когда так многое меняется, перепрокидывается, – свойство цепко держаться за старое мне кажется драгоценным.

Неужели православие рушилось от того, что в Иисусе будет одно «и», аллилуйя только двойное и вокруг аналая в какую сторону пойдут? И за это лучшие русские жизненные силы загонять в огонь, в подполье, в ссылку? А доносчикам выплачивать барыши с продажи вотчин и лавок? За переводчиками, переписчиками книг надо было следить раньше, а вкралось немного, так хоть и вкралось.

Тихий подпоручик, со свободным поколебом русских волос над просторным лбом, разволновался, будто это всё в их бригаде совершалось, и сегодня:

– Боже, как мы могли истоптать лучшую часть своего племени? Как мы могли разваливать их часовенки, а сами спокойно молиться и быть в ладу с Господом? Урезать им языки и уши! И не признать своей вины до сих пор? А не кажется вам, отец Северьян, что пока не выпросим у староверов прощения и не соединимся все снова – ой не будет России добра?..

С такой тревогой, будто гибель уже вот тут, над их землянками, стлалась в ночи волной зеленоватого удушающего газа.

– Сам для себя я, знаете, считаю: никакого раскола – не было. Может быть, при нашей жизни уже никто не соединится, но в груди у меня – как бы все соединены. И если они меня пускают к себе, не проклиная, то я и вхожу с равным чувством и в их церковь, как в нашу. Если мы разделены, то какие ж мы христиане? При разделении христиан – никто не христианин, никакой толк.

Несколько гулких, тяжёлых разрывов, передаваемых через землю содроганием на большую даль, дошло до них. И наложилось подтверждением, что – упущено. Что христиане рвали друг друга на части.

В своём положении, подвышенном подушками (у Устимовича много было натолкано), священник переложил голову в сторону Сани, обратил к нему печальное лицо:

– В какой стране не надломилась вера! У всех по-своему. И особенно последние четыре столетия – человечество отходит от Бога. Все народы отходят по-своему – а процесс единый. Адова сила – несколько столетий клубится и ползёт по христианству, и разделение христиан – от этого.

Тут – запел чайник и пар погнал. А заварка у Цыжа наготове. И чайничек малый вымыт, всё приудоблено. И кружка есть глиняная, из неё пить не горячо. Из лавочки бригадного собрания – вишнёвый экстракт.

– Нет-нет, ни за что не вставайте, отец Северьян, я вам туда подам!

Священник полулёжа, на боку, с пододвинутой табуретки стал попивать заваренный чай – и едва ли не прямо с этими глотками возвращалась к нему сила.

– Да, что-то я подломился сегодня...

А Саня подвинул свою скамеечку ближе к его койке, тут и всего было рукой протянуть. И снизу вверх:

– Я вообще считаю, отец Северьян, что законы личной жизни и законы больших образований сходны. Как человеку за тяжкий грех не избежать заплатить иногда ещё

и при жизни – так и обществу, и народу тем более, успевают. И всё, что с Церковью стало потом... От Петра и до... Распутина... Не наказание ли за старообрядцев?..

– Что же нам теперь – искорениться? Церковь на Никоне не кончилась.

– Но Церковь не должна стоять на неправоте. – Саня договорил это шёпотом, будто тая от Чернеги спящего или от самого даже собеседника.

Священник ответил очень уверенно:

– Христова Церковь – не может быть грешна. Могут быть – ошибки иерархии.

Слишком уверенно, как заученно.

– Вот этого выражения никак не могу понять: Церковь – никогда ни в чём не виновата? Католики и протестанты режут друг друга, мы – старообрядцев, – а Церковь ни в чём не грешна? А мы все в совокупности, живые и умершие за три столетия, – разве не русская Церковь? Я и говорю: все мы. Почему не раскаяться, что все мы совершили преступление?

Касаний таких уже не одно было в короткой саниной жизни, в спорах и в чтении. Проходили эти касания по внезапным мысленным линиям и не перекрещивались в единой точке, но оставляли кривой треугольный остров, на котором уже еле стояла подмываемая, подрываемая Церковь.

И когда потом государство смягчало гонения староверов – Церковь сама ужесточала, теребила государство – ужесточить.

– И к чему же пришла? – к сегодняшнему плену у государства. Но любого пленника легче понять, чем Церковь. Объявила бранными все земные узы – и так дала себя скрутить?

– Вы-ы... – всматривался священник. – Вы это всё – сами, или...

– Или... – кивал Саня. – Я, собственно, ещё со старших классов гимназии. У нас на Северном Кавказе много сект – я к разным ходил, много слушал. Толки, споры. Особенно – к духоборам... И – Толстого много читал. Больше всего – от него.

– Ну да, конечно, – теперь улыбнулся священник, узнавая. – Толстой, это ясно. Но вы? – от духоборов и до старообрядцев? – кто же вы?

Саня застенчиво улыбался, прося извинения. Пальцами разводил. Он сам не знал.

– Нет, просто над хлебом-солью сидеть, как духоборы, я – нет. И – не толстовец. Уже. Что учение Христа будто рецепт, как счастливо жить на этой земле? – ну, зачем же. Да чуть ли уж не так, что будто вообще оно не божественного рождения??. И что любовь есть следствие разума?.. Ну какая же?..

Где Саня не вёлся уверенным сильным чувством, а пытался разобраться, – он не умел говорить легко. Он растяжно тогда выговаривал, раздражая нетерпеливых студентов или настойчивых офицеров. Он потому так говорил, что сколько бы ни вынашивал мысль, но и в момент произнесения она ещё была не готова у него, ещё могла оказаться и ложной. Само произнесение мысли было и проверкой её:

– Да и... Уж очень начисто отвергает Толстой всё, в чём... Вера простого народа, вот, моих родителей, села нашего, да всех... Иконы, свечи, ладан, водосвятия, просфоры – ну, всё начисто, ничего не оставляет... Вот это пение, которое в купол возносится, а там солнечные полосы в ладанном дыму... Вот эти свечечки – ведь их от сердца ставят, и прямо к небу. А я – люблю это всё, просто с детства... Или вот Рогожская – разве на той службе взбредёт, что это – спектакль, самовольно присочинённый нами к христианству?.. Лепет. Но всего отчётливей я почувствовал – с крестом. Толстой велит не считать изображение креста священным, не поклоняться ему, не ставить на могилах, не носить на шее – сухота какая! Вот именно через это я переступить не могу. Как говорится, могила без кадила – чёрная яма. А тем более без креста. Без креста? – я и христианства не чувствую.

Прислушивался, в своих звучащих фразах проверяя, нет ли ошибки.

– Одно время пытался я, по Толстому, запретить себе креститься. Так не могу, сама рука идёт. Во время молитвы не перекреститься – молитва как будто неполная. Или когда вот

смерть свистит-подлетает – рука ведь сама крестится. В этот момент что ещё естественней сделать на земле, может быть последнее?... Такое ощущение, будто креститься меня не учили, а – ещё до моего рождения было во мне.

Отец Северьян принял ласково блестящими глазами. Если даже через девятнадцать русских студентов хотя бы двадцатый воспринимает дыхание церковной службы выше рационального анализа – и то не потеряна вера в России!

– А вам не приходило в голову, что Толстой – и вовсе не христианин?

– Вовсе? – изумился, уткнулся Саня.

– Да читайте его книги. Хоть «Войну и мир». Уж такую был богомольного народа поднимать, как Восемьсот Двенадцатый, – и кто и где у него молится в тяжёлый час? Одна княжна Марья? Можно ли поверить, что эти четыре тома написал христианин? Для масонских поисков места много нашлось, а для православия? – нет. Так никуда он из православия не *вышел*, в поздней жизни, – а никогда он в православии не *был*. Пушкин – был, а Толстой – не был. Не приучен он был в детстве – в церкви стоять, и ощущать в Христе – самого Бога. Он – прямой плод вольтерьянского нашего дворянства. А честно пойти перенять веру у мужиков – не хватило простоты и смирения.

Саня – пятью пальцами за лоб, как перешупывал.

– Я – так не думал, – удивлялся он. – Почему? Разве его толкование не евангельское? Что мы от Евангелия отшатнулись бесконечно? Заповеди твердим – не слышим. А от него услышали все. Уберите, мол, всё, что тут нагромодили без Христа! Верно. Как же мы: насильничаем – а говорим, что мы христиане? Сказано: не клянись, а мы присягаем? Мы, по сути, сдались, что заповеди Христа к жизни неприменимы. А Толстой говорит: нет, применимы! Так разве это не чистое толкование христианства?

Оправился отец Северьян от своего упадка, вернулась живость в лицо, и, уже выздоравливающий, он с готовностью отвечал, как будто вот этого одинокого подпоручика давно себе ждал в собеседники:

– Как же должно упасть понимание веры, чтобы Толстой мог показаться ведущим христианином! Вытаскивает по одному стиху из текстов, раскладывает на лоток, и при таких гимназических доводах – такая популярность! Просто его критика Церкви пришлась как раз по общественному ветру. Хотя и обществу он даёт негодное учение, как оно не может существовать. Но либеральной общественности наплевать на его учение, на его душевные поиски, не нужна ей вера ни исправленная, ни неисправленная, а из политического задора: ах, как великий писатель костит государство и церковь! – поддуть огонька! А кто из философов отвечал Толстому – того публика не читает.

– Н-ну, не знаю... – ошеломлён был Саня. – Если чистое евангельское учение – и не христианство?

– Да Толстой из Евангелия выбросил две трети! «Упростить Евангелие! Выкинуть всё неясное!» Он просто новую религию создаёт. Его «ближе к Христу» это в обход евангелистов. Мол, раз я тоже буду вместе с вами верить, так я вам эту двухтысячелетнюю веру сразу и реформирую! Ему кажется, что он – открыватель, а он идёт по общественному склону вниз, и других стягивает. Повторяет самый примитивный протестантизм. Взять от религии, так и быть, этику – на это и интеллигенция согласна. Но этику можно учредить в племени даже кровной мезьей. Этика – это ученические правила, низшая окраина дальновидного Божьего управления нами.

Видно, не первый раз доставалось отцу Северьяну об этом толковать, и видно, незаурядный он был батюшка.

– Толстого завела – гордость. Не захотел покорно войти в общую веру. Крылья гордости несут нас за семь холодных пропастей. Но никак не меньше нашего личного развития – стать среди малых и тёмных и, отираясь плечами с ними, упереться нашими избранными паль-

цами в этот самый каменный пол, по которому только что ходили другие уличными подошвами, – и на него же опустить наш мудрый лоб. Принять ложечку с причастием за чередой других губ – здоровых, а может и больных, чистых, а может и не чистых. Из главных духовных приобретений личности – усмирять себя. Напоминать себе, что при всех своих даже особенных дарованиях и доблестях ты – только раб Божий, нисколько не выше других. *Этого* достижения – смирения, не заменят никакие этические построения.

– На смирение – я целиком согласен.

– А Толстой ищет-ищет Бога, но, если хотите, Бог ему уже и мешает. Ему хочется людей спасти – безо всякой Божьей помощи. Перешёл на проповедничество – и как будто что случилось с ним: всё умонепостижимое, что в мире есть и правит нами и силы нам даёт, и что он знал, когда писал романы, – он вдруг как перестаёт ощущать. С какой земной убогостью он трактует Нагорную проповедь! Как будто потерял всю свою интуицию. Великий художник – и не коснулся неохватного мирового замысла, напряжённой Божьей мысли обо всех нас и о каждом из нас! Да что не коснулся! – рационально отверг! Наше собственное бессмертие, нашу собственную причастность к Божьей сущности, – всё отверг!

Отец Северьян приподнялся от подушки, отзывный, оживлённый, смотрел твёрдо-блестяще. Добрёл он до этой землянки, как ни останавливались ноги, как ни заплеталось сердце, – но и здесь осуждён был не отдыхать.

– Неужели не досталось ему содрогаться в беспомощности и ничтожестве? Испытывать порой такую слабость... такую немощь... такое затемнение... Когда ни на какое самостоятельное действие нет сил, а последние силы – на молитву. Хочется – только молитвы, только набраться перетекающей силы от Всемогущего. И если это удаётся нам – так явственно освещается грудь, возвращаются силы. Так узнаём мы, что значит: «сохрани и помилуй нас Твоею благодатию!» Знаете вы это состояние?!

Волнистоволосой головой со скамеечки Саня кивнул, кивнул. Тихо сказал:

– Я именно в таком состоянии и встретил вас сегодня. И даже – ждал, не точно зная, что – вас... Я именно часто ощущаю, что сил моих совсем не достаточно, даже и на суждения.

Раздалась гулкая пулемётная очередь. Раздалась – на переднем крае, но от холодного, дождливого и тёмного времени слышна была очень внятно сюда. Два десятка крупных пуль где-то там пронеслись, вбились в землю, продырявили доски, вонзились в брёвна, может быть и ранили кого-нибудь, хотя такие дурные ночные очереди – больше для напугу.

А – как же он нёс погоны, кричал орудиям: «беглый! огонь!»?

– Отчего же вы никогда мне...?

– Я говорил вам. Однажды на исповеди. Но вы меня, кажется, не поняли...

6

Оброненная исповедь. – А если не прощать? – Священник и война. – Природа войны. – Дилемма: мир – зло. – Не худший вид зла. – Не исключительна каждая вера.

– На исповеди? Когда ж это?

– Великим Постом. Вы тогда только недавно приехали к нам.

– Ах вот, наверно поэтому. У меня несильная память на лица, а все сразу новые...

Подпоручику и сейчас нелегко, будто снова исповедь:

– Я пожаловался вам тогда... Как мне тяжело воевать. Что я пошёл на войну не по повинности. Мог бы доучиваться в Университете. Пошёл – добровольно. И значит, все грехи здешние и все убийства здешние я взял на себя – вольно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.